

3-81

Леонард Золотарев

Костровый  
пояс

Леонард Золотарев

# Костровый пояс

*Повесть  
и рассказы*

КРАЕВЕДЕНИЕ  
2009

740161

**Золотарев, Л. М.**  
3—81 Костровый пояс. Тула. Приок. кн. изд-во. 1974.

В повести «Не манна небесная», в рассказах, входящих в эту книгу, автор ставит вопросы об отношении к человеку, к родной земле, к труду.

Характеры людей-тружеников выписаны доброжелательно, зримо и тепло. Через все произведения проходит тема любви к родному Орловскому краю.

P2



# Повесть

## НЕ МАННА НЕБЕСНАЯ

### 1

«Волга» неслась по натёртому резиной асфальту. Светился березами Нарошкинский лес. Обзор скрадывала седоватая щетка волос: председатель, сидя за рулем, вертел без конца головой, оглядывался. Он самолично вез к себе в Селище только что сосватанного парторга. Парторг смотрел на себя глазами председателя, составлял свой словесный портрет: невысок, щупловат, беловат лицом, слева на верхней губе шрамик; говорит глуховато, спокойно; волосы белесые, глаза голубые.

— Вот тут... вот тут, понимаешь,— кивала на обочину щетка волос,— понимаешь, я перевернулся. Пионеры, вишь, отметили, тополёк посадили. Надо было, понимаешь, на сушзавод, цены на помидоры срезали. А тут дождь и грязца...

Через километр щетка волос опять кивнула на обочину:

— И тут, понимаешь, перевернулся. Надо было за роженицей, мигом. И тоже тополек, тополек...

Новоиспеченный парторг Позичев вздохнул и поневоле начал коситься на каждое из пролетающих обочь деревьев. Собственно, ехать было всего каких-нибудь двенадцать километров. Не успеешь разогнаться мыслями да привыкнуть к пулеметной трескотне председа-

теля: «Тр-тэ-тэ... Надо было, надо было, надолбы, надолбы. Понимаешь, понимаешь, понимаешь...» Давным-давно, когда он, парторг, видите ли, был еще конопатой спичкой, у председателя деда росла на огороде черемуха, а под черемухой они устроили себе с дедом ша-лашик, а на черемухе моталась дуплянка, а в дуплянке трещали сквор...

— Ну, понял? — замедляя ход, повернул к нему председатель.

— Угу, — мотнулась у Позичева голова на ухабе.

— Чего понял? — сдвинув мохнатые брови, впился в него председатель.

— А все, — ответил Позичев еще более смирно.

«Волга» резко остановилась, словно наткнулась на стенку.

— Вылезай! — распахнул председатель дверцы. — И пешком, понимаешь, пешком.

Позичев опешил. От обиды защемило в носу.

— Ладно, — посидев немного, махнул председатель и снова взялся за руль. — Соглашатель! Ничего не понял, а соглашаешься... Сам знаю, не враз поймешь меня. Такая речь. Меня даже сам генерал Белов... Не-ет, мы с таким не сработаемся, лучше сразу бок о бок и в разные стороны... Ну, чего стоишь? Ладно, садись. Обиделся, небось...

Березы опять полетели навстречу. Воспоминания разгорячили председателя, его речь набирала прежнюю скорострельность.

— Ну, дак вот, стоял, помнится, склад в Калуге. Приезжает с проверкой сам генерал Белов. Ну, я ему по всей форме: бац, бац, пять шагов, руку к пилотке и духом одним — какая амуниция да в каком состоянии, да про моральный дух, да чем занимаюсь в данный момент, да про всякие перспективы... Строчу — брею, а

ребята, гляжу, за животики держатся, генерал Белов хмурится, соображаю: не больно чего из моей пулеметной ленты в мишень ему попадает. Однако генерал Белов улыбнулся, положил руку мне на плечо, попросил повторить, а уж потом подмигнул всем: «Вот уж бравый солдат Швейк! Добрый солдат»...

«Волга» давно стояла возле правления, а председатель с парторгом все сидели в машине, время от времени сотрясаемой смехом. Позичев смеялся, а сам охлаждал себя внутренне, словно прицеливаясь, вглядываясь в Житкова. Ишь, как оно легко у него — марш из машины, и баста! И жестко стелет, и мягко, а каково будет спать? Когда сватали, говорили в райкоме: сним, мол, и легко, и непросто. Намекали, что комиссар при Житкове должен быть тоже на уровне, как и сам председатель, да и весь колхоз в целом, который — и райком серьезно рассчитывает — должен не только не спустить показатели, но и поднять их еще выше. Однако следует помнить, что действиям надлежит оставаться в пределах партийности, слышишь ты, комиссар?.. На что это намекали там и что имели в виду?.. А он — выходи из «персональной телеги», и баста. Собственник какой!.. Да и так оно, если задуматься: человек уже в годах, было время у жизни нервишки истрепать. А он, гляди, держится, руководит огромным хозяйством, да еще одним из лучших в районе. И в том его, Житкова, говорят, большая заслуга, но только за ним глаз да глаз нужен, потому и посылают сюда человека принципиального, твердого, взамен выехавшего за пределы района... «Ну, уж шалишь, Николай Егорович,— заиграл желваками Позичев,— просто так меня из машины не выкинешь».

Житков, наконец, отсмеялся, рывком дернул дверцу «Волги», как-то ловко вывернулся наружу, и не успел

Позичев встать рядом, как приземистая, тучноватая фигура Житкова покатила по коридору правления, загремел в пустоватом здании пулеметный его говорок, и в двери, отворяемые навстречу, посыпались шутки, прибаутки, вопросы, ответы. В кабинет Житков ввалился в сопровождении уже целой свиты.

— С севом как? Вешницы обсушились, на второй бригаде уже можно,— подступал инженер Токарев.

— Что скажет Танька,— живо парировал Житков.— Вместе давай, вместе.

Танькой для него была Татьяна Федоровна — главный агроном, Новикова, которую он уважал за опыт и знания и которую, хотя она давно была уже не девчонкой, называл иногда отечески Танькой. К нему же с детства за маленький рост и подвижность прилипла вроде как кличка Николайчик. Николайчик да Николайчик, он и сам иногда называл себя так же.

Из людской массы выдвинулся недавно назначенный директор восьмилетки Рассказов. Скручивал-перекручивал шляпу в руках:

— Пристройку, такое дело, к сентябрю не сдадим... Люди стоят... Кирпич, такое дело, не на чем вывезти...

— Да-да-да,— сдвинул мохнатые брови Житков.— Сев, понимаешь, сев.

Зазвонил телефон.

— Да-да, Николайчик слушает... Ждем, ждем агрегаты, конечно... Да! Вот и на ловца зверь. Мне пару машинок на завтра. Спишь? Медведь в берлоге, медведь. А мы тут уже сеем. Зерно подвозить к сеялкам. Ах, не можешь? Ну и я, о чем ты говорил, не могу. Не проси, не могу... Свои-то?

Николайчик обернулся и, прищурившись, хитровато посмотрел на парторга:

— Одни в дальнем рейсе, другие пока без резины...

Не похоже на нас, говоришь? А что поделаться?.. Так машины даешь? Даешь, значит. Ну, вот и по рукам.

Николайчик положил трубку и кивнул директору школы:

— Будут, будут завтра машины. Наши пойдут тебе за кирпичом, автоколонновских — к сеялкам. Все.

Помяв еще немного шляпу в руках, Рассказов ушел. Николайчик снова взглянул на парторга:

— Так-то. Кто тянет, на того и накладывать. Кругом пока чухаются, а мы уже сеем, все вешницы у нас на учете.

Он встал и, наклонившись, начал рьяно запихивать бумаги обратно в стол. Разогнулся, загремел на весь кабинет:

— Слышали? Сейчас звонили из района: подходит автопоезд с зерноочистительными машинами. Дело всем, дело. Айда на разгрузку.

— И ты, Михаил Николаич,— обернулся он к Позичеву.— Наше дело там, где народ... Кабинет тебе? Вот тебе кабинет, вместе будем. Телефон тебе, стол буквою «т»... Ах, отдельный? Ну, считай все тут, понимаешь, своим, а я у тебя в гостях, я не гордый. А вообще-то, сынок, не в кабинетах дело... Ну, ладно, располагайся, потом подходи.

Позичев начал двигать столом, этажеркой, выгружать из портфеля книги, брошюры, наглядную агитацию, а сам краем глаза следил в приоткрытую дверь, как, проходя коридором, председатель заговорил с молоденькой девушкой, оказавшейся, как послышалось Позичеву, практиканткой. Она умоляла подписать ей бумагу и отпустить ее с миром сейчас же, до окончания практики. «Да мы тебя тут и вовсе оставим,— шутил председатель.— Нам специалисты нужны. Замуж тебя, Римма Батьковна, выдадим. Дом колхозом построим.

Лучшего парня найдем, сам на свадьбе у вас плясать буду. Э-эх, да! — передернул плечами он и запел, заголосил озорную частушку: — Кабы деткам уже не леталося, до сих пор перепелка б влюблялася. Кабы жинка моя не грозилася, сердце б — эх, да! — тобой занозилося...»

Взяв ее под руку, Житков лихо прошелся с ней на каблуках, и девушка засмеялась, горячо заговорила о чем-то, пошла следом к дверям.

— Ну и дает этот... Николайчик,— улыбнулся уголками губ Позичев.

Прошло с четверть часа. Позичева возвратило к действительности деликатное покашливание: у двери стоял пожилой человек, почти старичок, в новой фуфайке и кирзовых сапогах, с узким лицом, с глубоким, светящимся, каким-то скорбеющим взглядом. Долго и молча ценил, разглядывал Позичева: шупловат и костист, волосы цвета моченой пеньки, нос нашлепкой, лоб, как бредень в иссечке, глаза, сказать, не на выкате, пиджак и рубаха обыкновенные, без заграничности,— вздохнул, шевельнул кадыком: парень свой, деревенский.

— Вам кого? — спросил его Позичев.

— Да к Кольке тут... забежал.

— Это к кому?

— А к нему,— кивнул вошедший на стол с телефоном.— К нему, к Николайчику.

— Это все-таки председатель,— уже не сдержался Позичев.— У него между прочим есть имя и отчество.

— Председатель,— согласился вошедший,— я знаю. Мы с ним возрастали. И на фронте опять же. А меня зовут Дмитрий Афанасич, Астахов по фамилии. Так.

— Ну, и... где же вы, кем вы сейчас?

— А-а,— махнул Астахов,— какая работа. На пенсии. Это Колька все бегают, мечется. Годки с ним, а

молодые за ним не угонятся. В ЦПШ обучались с ним вместе, и никто б не подумал тогда, что ему будет дана такая серьезная умственность.

— Где, где, говорите, учились?

— А в ЦПШ, в церковноприходской школе. До революции еще, в четырехкласске. Он отродясь такой... швыдкий. Эх, да что там. Помнится, возьми да отрежь на законе божьем у меня оборки с лаптей, и так это ловко, неслышимо. А теперь Колька...

— Да вы садитесь, Дмитрий Афанасьевич. Садитесь поближе сюда. Так вы, говорите, вместе с ним воевали? — придвинулся к нему Позичев и приготовился слушать.

Война проходила перед его глазами: вокзалы, бомбежки на бреющем, гибель людей, закордонные каменные города. Чужую жизнь он воспринимал из астаховских слов, как свою, чужие радости и боли отдавались в его душе, все это было пережито и им.

Ехали солдаты с войны, возвращались к своим домам. Кто вез ордена и медали во всю грудь, кто пустой рукав гимнастерки, кто на мену чемодан иголок или мешки для зажигалок.

Не пустым ехал домой и Николайчик. В кармане гимнастерки парилось у него письмо из колхоза, куда бабы, чуя конец войне, вновь звали его председателем. Спину горбатил пузатый вещмешок, где среди всякой солдатской всячины хранились деньги, собранные ему однополчанами перед отъездом на обзаведение. В углу вагона мерно покачивалась сеялка, которую командование разрешило взять ему в качестве трофея.

Все разбито было в Селище, не знал, за что и хвататься.

В первый же год нащупал Николайчик где-то полуторку, добавил к тем солдатским рублям своих, да и

купил колхозу единственный на всю округу механический двигатель. Хламида. Правда, шоферы, нагрянувшие с фронтов, и не такое видали — оживили полуторку. Николайчик снял заднее колесо, сделал от диска привод к молотилке. А весной, когда все копали лопатами или на коровах пахали, приладил к полуторке два пароконных плуга. Но на больших оборотах плуги вылетали из борозды, а при малых — мотор перегревался. Посмеялись все над такой затеей, а Николайчик выдумал на коноплю колхоз поворачивать. Оживать стали. Из Брянска люди назад потянулись.

— Стали тогда подливать к нам другие колхозы. Один да другой.— Астахов вдруг замолчал, отдыхая.— А Николайчик,— решительно встал Астахов, чтоб уходить,— со всеми, сколько ни подливали, справлялся. Такая у человека умственность.

— Ну, и какая такая?

— Простого человека знает и ученого наскрозь... Помню, мы с «Броневином» уже слились. Недосдал наш колхоз до плана мяса килограмм двадцать. Ну, ясное дело, Николайчику, значит, упрек, не срамись, мол, досдай. «Это,— отвечает,— моментом». Отвез на базар своих две овцы, купил на те деньги теленка и — государству его. Приехал из района уполномоченный и эдак строго: к чему, дескать, вся эта комедия? А Николайчик в шутку: «А что, разве плохо? И с планом расчет, и себе по сто грамм досталось...». Вот вы и считайте теперь, хозяин он был тогда, ай не хозяин. Вам видней, вы ученые, сами, как да что, и маракуйте.

## 2

В углу большого колхозного двора, возле складов, шевелился народ. Мощные «Зилы» стояли один к одному, задние и боковые борта были отброшены, на дере-

вянной площадке, открывая взгляду, сверкали краской зерноочистительные агрегаты. Позичев попал сюда вовремя: по сходням как раз начинали спускать первую махину. Надвинувшись на бревна, махина дрогнула, поползла вниз, и тотчас же множество рук, упершись в колеса, в бока, цепляясь за каждый выступ, тоже дрогнули, напряглись, начали осторожно вести груз по бревнам вниз. Позичев стоял позади Житкова и чувствовал, как узлами пошла вязаться спина председателя, как что-то забулькало внутри у него, стало подниматься и опадать все его большое, тяжелое тело. «Куда ему... хорохориться»,— едва мелькнуло у Позичева, как стальная махина качнулась в их сторону и надела на плечи; красные, зеленые, синие кольца заметались перед его глазами.

— Вот дьяволы,— бегал, ругался потом Николайчик, когда агрегат уже благополучно опустили на землю и откатали в сторону.— Застряло. На сучке, на сучке. Забыли стесать... А ну, топор!

Принесли топор, Николайчик начал сшибать им злополучный сучок, погнал белую, разлапистую, смоляную двухметровую щепку.

— Ох! — так и присел он, хватившись пониже спины.— Пояснику сорвал.

— Говорили тебе, дед, сиди! Говорили?! — подошел к нему разгоряченный работой Славка Пиняев — загорелый и ладный, крепкой трактористской закваски.

— Становись-ка туда, к практиканточке,— кивал ему Николайчик на Римму.— Да поближе, покрепче держись...

— Заходи справа, заходи слева! — командовал Николайчик.— А то ненароком... А за машину эту отпалили! За нее, стерву, урожай гектаров с пятнадцати или

дояркам с неделю доить... А ну, берегись, берегись. Эх! — вскочил он и кинулся в сторону, куда собиралась качнуться эта стальная «стерва».

На сей раз, умудренные опытом, махину сгрузили более ловко.

Сидели прямо на травке, на бревнах и не могли дышаться, чуя приятную тягость в руках, утираясь ладонью, платком иль косынкой, слышали каждой кровинкой, как невесть откуда в них наливается радость. То ли оттого, что все делали вместе, что вместе крепкие такие, сильные, сноровистые. То ли оттого, что кругом был разлит апрельский живительный воздух и где-то шевелили землю прозревшие озими, которым еще предстояло выбросить колос, налить золотое зерно. А здесь вот они — уже готовы для жатвы — дружки-подружки, близнецы-сестренки, в одинаково коричневой краске, свежие, без единой царапины, прямо с завода.

— Агрегатки,— погладил крайнюю Николайчик, и глаза его были веселы и молоды.— А ну, выходи! — крикнул он, подмигнув Римме, и уже лихо бил перед ней каблуками.— Шире, шире круг! Дай гармонь, а то помру!

В контору возвращались со смехом и прибаутками. Позичев чувствовал в себе какую-то размягченность и старался быть тверже, не раскисать. Все свои сознательные годы боялся он оказаться бесхребетным, таким мякишем. «Правда должна быть с молотками,— рассуждал он про себя,— а если всех гладить, невесть в какие болота закатишься. От чего больше пользы трудовому народу, то и добро для него». На сем круг его рассуждений замыкался, дальше он предпочитал не забираться, ссылаясь на свое среднее образование, но думы сами собой возвращались и толкали его к свежему человеку, со свежим для него строем мыслей. Как

все просто у Николайчика: поработал, сплясал от души, идет, шумит с людьми...

— Эй, Николай Николаевич! Тезка! — кричит в сторону Николайчик.— Ну-ка, поди сюда... Что-то у тебя фуфайка в дырках, хлеба просит.

— Дак сейчас разорвал, на разгрузке.

— На-ка, на-ка тебе тридцатку,— достает кошелек Николайчик.— Поди в лавку, новую купи, когда будут излишки, отдашь.

— Не пойму я вас, Николай Егорович,— не выдерживает Позичев.— Ваши выходки...

— Протолклись, протолклись,— сыплет свое Николайчик.— Солнце вон уже на раките, а квартиру тебе не нашли. Где ночевать будешь, где? В кабинете?

— Я солдат и...

— К нам с бабкой пойдешь. Мы вдвоем с ней... А сейчас тут походим, покажу кой-чего.

Солнце село спокойно. Звякали возле колонок ведра, тугие водяные струи бросались в звенящую жечь. На звон, чуя приближение поила, сипло откликались телята. Из-за горизонта всплыли рыхлые тучи, навалились, и все потемнело. Теплый воздух остановился и остекленел; четче стали видеться дали: контуры крыш, гусеницы на тракторах, даже замки на складах, даже гвозди в оконных рамах, ветки в вишневых садах. Стало душно, тучи не пускали ввысь влажные токи земли.

— Парниковый эффект,— вытер на лбу испарину Позичев.

— Дождичок нужен, нужен,— буркнул Николайчик и заторопился: — Пошли.

Они обходили фермы, мастерские, пилораму и склады, навесы, каменные, бревенчатые строения; машины в линейку, трактора и комбайны; лес-кругляк и тесовые плахи. Сколько техники, сколько добра. А сколько полей

вокруг, если подумать, сколько селений, людей, сколько ниточек к ним и от них. И все приводится к одному знаменателю — к Жизни. За то воевали и гибли, за то трудились и трудимся... Только сейчас, в этой тихой ночи, может, и понял Позичев по-настоящему, какой груз лег на плечи ему — быть при людях, при хозяйстве, при председателе.

Миновали мосток. Сбоку чувствовался овражек, на дне которого едва слышались переливы воды. Тут же уперлись в строение — Николайчиково жилье. Позичев рассчитывал увидеть нечто серьезное, только не такое. И в менее сильных хозяйствах председатели жили в куда более крепких обителях, а тут перед ним белело приземистое, обмазанное глиной строение.

— Ньюш, а Ньюш,— шагнув за порог, пустил в темноту голос Николайчик.— Принимай гостей, принимай.

— Ох-ох-ох,— поднялась в передней полноликая, грузная женщина.— Явился, ваше сиятельство... Коров завтра стеречь наша очередь... Сарай совсем завалился...

— Ну так подопри, подопри его колом.

— Кого колом?.. Ох-ох-ох,— опять закричала Николайчикова супруга.— Как с тринадцати лет на меня плетушку навесили, так сама, все сама, все сама.

— Ну, что вы, Анна Ивановна,— возразил, проходя в горницу, Позичев.— Он у вас человек деловой.

— Деловой? Да. Только не для себя... Пенькозавод у нас тут после гражданской начали строить, так он пошел туда со своей кобыленкой. Уж так вытягивался, так вытягивался, что кобыленка и та отказалась жить у такого хозяина... Жениться как следует и то не сумел. Поехали с ним расписываться в сельсовет, а там и говорят нам: нельзя, председатель как раз помер. Мы и отставили свадьбу...

Собрав на стол, Николайчикова супруга проследовала восвояси, на кухню. Позичев, сколько мог, потыкал вилкой в еду, затем прошел в горницу, лег в постель, с наслаждением вытянул ноги. Не утерпев, полез в карман, нащупал «Беломор» и закурил в закрытых ладонях, пуская дым себе под одеяло.

— Не спится, не спится, соску сосешь,— подал Николайчик голос за перегородкой.— Стопку куда ни шло, а то соску.

— Не спится,— согласился Позичев,— все думаю...

— Об чем, интересно, об чем? Об чем, интересно, думают парторги в первый день своего пребывания?

— О тебе.

— Н-ну!

— Да вот о тех овцах, которых ты, Николай Егорович, тогда на теленка выменял. И опять же о тридцатке, какую дал ты сейчас в долг на фуфайку.

— Верно, верно, мне по селу, если посчитать, многие, понимаешь, должны.

— Вот, вот, барские у тебя, вижу, замашки.

— Ругай, ругай меня, перестарка такого, несознательного, отстающего, на то ты и комиссар,— вздохнул Николайчик.

По улице прострочил мотоцикл, и яркие пятна от фар проскочили по потолку. Покряхтывая, Николайчик вошел к Позичеву в горницу, прислонился к краю стола.

— Вот ты ругаешь меня,— опять вздохнул Николайчик,— а людей сам-то как ценишь? У тебя сейчас семьдесят коммунистов. Как и куда, разрешите спросить, будете их расставлять?

— Ну, известно как: добросовестных, трудовых поощрять, способных выдвигать...

— Во-во, выдвигать!.. Ну вот ты приехал, скажем,

на ударную стройку начальником, к тебе сотни людей — как ты узнаешь, кого выдвигать, кого задвигать? Все вроде хорошие, наши, советские. Все говорить хорошо научились. А нам, ты знаешь, говорить мало, нам работать надо... Ага, молчишь, значит? Послушать старого хочешь? Так вот расставь мне, прошу, Михаил Николаич, в порядке полезности четыре таких вот сорта людей. Один, скажем, такой: доволен собой, недоволен людьми. Второй — доволен собой и доволен людьми. Третий — недоволен ни собой, ни людьми. Четвертый — недоволен собой, доволен людьми. Дак какого из них ставим первым, Михаил Николаич?.. Того, какой доволен собой и людьми? Во-во, я так и знал! — чуть не подпрыгнул возле стола Николайчик. — Нет, уж этого то я бы заткнул на последнее место. Какой прок от него? Самый, как это пишется, обыватель. Никуда не сдвинешь, не раскачаешь. Правда, не досаждаёт, не жалуется. Плохому начальству самый хороший человек.

— А что же, по-вашему, — прищурился Позичев, папираса сжигала пальцы, — первого сорта те, что недовольны ни собой, ни другими?

— Другими? Да. Они и собой недовольны, потому что не все еще могут. Да в чем же дело? Да, милые, вот вам руки мои, голова моя, давайте вместе. Без таких жизнь была бы, ей-богу, стойлом вонючим.

— И давно ты философию себе такую состряпал? — затынулся теперь уже без стеснения «Беломором» Позичев.

— А всю жизнь живу с такой философией, — отошел от стола и присел на диван Николайчик.

— Что ж ты насчет своих барских замашек ничего не ответил?

— Интересуешься? У людей ниток много ко мне и у меня к каждому. Скажешь, чем отличаешься, мол, ты

Николайчик, от графа Каменского? Был тут у нас помещик — Каменский... А вот тем и отличаюсь: граф сам старался побольше наесться, а я — людей накормить. Деревню из пепла поднял с народом и сейчас жилось, ташу. Нелегко с людом, а одному нельзя. Вот ведь прет в колхоз сколько нового: техника всякая, система земледелия, хозрасчет... Да куда же мне без специалистов? Внедряют новое — прикину: доход. Я им без стеснения премию, потому что заслужили. Иной раз и вперед савансирую, потому что это же человек, ему верить надо, он горы тогда своротит. А вот как бы ты, например, поступил в таком случае? — Позичев даже во тьме видел, как хитровато шурился на него Николайчик. — Начали доярочкам мы помогать, фермы механизировать. УДС купили, привезли на Селищенскую МТФ, а к аппаратам никто и пальца не протянул. Я и так, я и сяк. Собрание за собранием — не хотят. Гляньте, мол, руки у вас потрепаны, до локтей понабрякли, а тут — техника! Слушать слушают, а как к делу — в штыки. Вижу, аппараты валяются, ржавеют, растаскиваются, я и продал...

— Не сумели, значит, сказать.

— Во-во. Прежний парторг тоже вот так-то — людей, мол, надо было воспитывать! Да на это время уйдет, а мне некогда, годы не те. Доярочкам тоже, им позарез нужна механизация.

— Позарез, Николай Егорыч.

— То-то. Так мы как с правлением сделали? Лебединскую ферму взяли да и раздвоили — на Лебединскую и Гореловскую. На Гореловской подобрали доярок, поработали с ними — внедрили механику, а оплату за работу оставили, как за ручную. Вот гореловские раз-раз аппаратами подоили и домой собираются, а лебединские все под коровами. Зароптали да ко мне в

правление: как это так? Подавай, мол, и нам облегчение. Ясное дело, сразу и им УДС. А потом слили фермы, зачем они две-то? Стали все доить механически, получать же, как за ручную. Тогда и селищенским стало завидно...

Стены надвинулись на Позичева, тело объяла сладкая дрема, он поплыл, поплыл в фуфайке по мягкой реке к довольным и недовольным собой, к механической дойке, опоясанный резиновыми шлангами, словно пулеметными лентами... Рядом прошел кто-то, Позичев зашевелился.

— Не спишь уже? — услышал он голос хозяина. — А я уж побрился, стакан чаю выпил и тебе приготовил. Мотор осмотрел — все в порядке, ехать можно.

Едва брезжило. «Волга» мчала их от бригады к бригаде. Из тени крайних домов выступали всегда неожиданно бригадиры, докладывали обстановку за истекшие сутки. И «Волга» летела дальше. Острый взгляд председателя подмечал изменения в посевах, брошенную за кюветом борону, стадо гусей на озимых, чтоб через час, через два вести в правлении наряд не вслепую, а со знанием дела. Лихо закладывал виражи, чтобы взглянуть на соломенный скирд, пер порой напрямую, по буеракам.

— А чего ты все сам да сам за рулем, Николай Егорыч? — покосился Позичев в сторону, когда Житков гнал машину по кромке оврага. — И реакция стала не та, и вообще день-деньской...

— Раньше срока не помирай, — засмеялся Житков. — А шофер-то? Он есть. Пускай семена подвозит, там нужней. А я сам как-нибудь, не барин.

— А из «Волги» вчера высаживал.

— Так ведь «Волга» моя, личная, — засмеялся пред-

седатель одними глазами.— С чужой худобы и посеред грязи слезешь... Вторую вот уже добиваю.

— А «козел» председательский?

— Специалисты катаются.

Позичеву вспомнился астаховский рассказ о полуторке, слова Анны Ивановны про кобылу, которая отказалась жить у такого хорошего хозяина, и, прикрыв глаза, улыбнулся.

### 3

Лето было безводное, знойное. Уж и забыли, когда всерьез лили дожди. Позичев видел, как заодно с землею чернели лица у людей, чернели и трескались губы у Николайчика; он терял свою обычную легкость, ходил непривычно вразвалку и молча. Иногда председатель приглашал Позичева к себе в «Волгу», и они ехали в некогда заливные луга, которые теперь были почти так же черны и истресканы, как и поля с яровыми, а вдобавок еще и выбиты тысячами копыт. Они видели, как мягкие губы животных искали каждую живую былку, а былок становилось все меньше. И уже не было надежды на дождик: барометр в правлении зацепился за «ясно».

Проезжая в соседний колхоз древним большаком, еще «царевой дороги», Николайчик останавливал машину на взгорке, смотрел вдаль, и виделись поля да поля, кое-где заключенные в лесополосы. Лесополосы зеленели и освежали глаз. А внизу, где-нибудь в сухой балке, у размытой и заросшей кугой плотины, ярко желтели ржавчиной остатки металлических труб, тут же из бетонных оснований торчали железные зубья, крепившие локомобиль, и Николайчик отводил в сторону взгляд, ссутулившись, шел садиться в машину.

Он метался по колхозу — туда, сюда. «Грачи еще спят, а уж Николайчик летает»,—говорили одни. «У соловья и того ночи длиннее, чем у него»,—говорили другие. Николайчик не давал и правленцам покоя: не засиживайтесь, в народ, в народ, на поля, на фермы; бумага будет — ржи не будет, молока не будет, на черта кому ваши бумажки. Но сам вечерами — примечал Позичев — все чаще запирался в своем кабинете, рылся в каких-то бумагах, приглашал чуть ли не ночью к себе экономистов. Что-то затевал, а что — не говорил прежде времени.

Звонили из райкома партии. Трубку снял председатель. Речь, вероятно, зашла о кабинете.

— Да что, что нам делить,— сыпал своей скороговоркой Николайчик.— Делить нечего, нечего, говорю... Все общее: и комната, и телефон, и мысли... Да, сталкивались, а как же?.. С молоком как? Полугодовой план закроем... По мясу? Надо что-то думать нам вместе. Думать, говорю, надо...

Собрания этого давно ожидали, готовились. Еще бы, вопрос, который не проходил мимо каждого: о переходе на гарантированную оплату колхозников. В кабинете Житкова и Позичева было тесно от людей. Приехали из райцентра. Представитель производственного управления Петовский — молодой и еще не знакомый, видно, недавно назначенный — все добивался, почему по такому важному вопросу докладывает не председатель, а главный экономист.

— Я говорю, кто лучше, лучше народу скажет, тот пусть и докладывает,— стоял на своем председатель.— И потом мы тут все вместе думали да рядили. Верно, парторг?

— А это что вы тут подцепили вторым вопросом? Ликвидацию свиноводческой фермы? Да кто же позволит вам?!

— Убытки, убытки, убытки. Не идет у нас свиноводство.

— Как это не идет?! Запрещаю этот вопрос в повестке...

Сидели, ждали, когда сойдется народ. А народ все не сходил. Подсобрались правленцы да еще кое-кто из шоферов, механизаторов, крутившихся поблизости, во дворе. Из бригад приехали, как выразился председатель, одни «голые бригадиры» — без колхозников.

— А почему они у тебя «голые»? — подступал к председателю Петовский. — Не обеспечил?

— Не пришли... А ты думаешь легко с народом, легко?

Собрание с той же повесткой решили проводить через неделю. «Но только чтоб обеспечил, — предупреждал Петовский. — Чтоб боже избавь чего. Ни-ни-ни...» Неделя прошла незаметно. К правлению из бригад подъезжали машины с людьми. Потирал — довольный — руки и Петовский.

— Ну-с, покажите повесточку. То же самое?!.. Так, переход на гарантированную оплату. Хорошо... Отчет о деятельности свиноводческой фермы... Опять ты про своих свиней?

— Ну дак...

— Ладно. Заслушаем... Собрались уже? Пройдемте, товарищи, в зал.

Первый вопрос проскочил без сучка, без задоринки. Всем все ясно: на современном этапе пора переходить на гарантированную денежную оплату. Хорошее дело. Когда объявили о втором вопросе — «Отчет о деятельности свиноводческой фермы» — в зале оживились, задвигались. Раздались голоса:

— Расскажи, расскажи, Михайло Иваныч, как у вас там со свинством?.. Говори, хромой, все, как есть.

Заведующий фермой Михаил Иванович Оборнев побурел лицом, прошел к президиуму, на ходу прижимая к боку протез, начал доставать живую рукой какие-то бумажки, достал, не глядя на них, поставил глаза в одну точку.

— А что говорить? — разжал он плотные губы. — Развели свинство, не пороситься свиньи, а рожать стали — по одному-два поросенка.

— Г-га-га-га,— захохотали в зале. — А что же это они у тебя так, из повиновения вышли? Чего заплосшали?

— Заплосшаешь! — озлился Оборнев и опустил голову: — Секите, конечно. Виноваты, товарищи. Н-но повиную голову и меч не секет... В общем, скажу вам, товарищи, так: а как вы хотели? Кадров нету, не с кем работать. Вот этой рукой мешанку раздаю... Вон Николайчик знает, мы с ним считаем-обсчитываем: а кого и где взять? На молочнотоварной у нас хорошо. Испокон повелось, идет, вы знаете, дело. Туда бабам и механизацию, и у баб сноровка... А свиньи — ну захудалое дело у нас. Каждой твари — по паре... В общем, если не так что сказал, здесь у меня все написано.

Оборнев положил бумажку на стол президиума, как-то ссутулился и пошел на свое место.

— Да, товарищи! — остановился он вдруг. — Сказал, может, что и не так, не по-писаному, но сказал от души, и так думаю... И хотя я навроде при должности, да без работы не буду. А на черта, по совести, такой чирей-хомут колхозу!

— Пусть бухгалтеры скажут, экономисты! — раздавалось из зала. — Как и что, и почему?

После слов главного экономиста, разъяснившего всю обстановку доподлинно, почему это дело у них нерентабельное и что выгодно в данный момент, что не выгод-

но, в зале сделалось тихо. Потом опять прорвалось, загудело, заходило собрание.

— Ставь вопрос на голосование... Ликвидировать ферму... Сосредоточиться на крупном рогатом...

Все смотрели на председателя. Житков сидел, угнувшись, скатывая в шарик пальцем нитку на скатерти. Отыскал глазами в углу Оборнева, легким кивком подбодрил его, дал понять, что сказал он неплохо, не осрамился перед людьми. И тогда зал потребовал:

— Голосуем, и баста!

Ликвидировать. Поднялись руки — одна, три, одиннадцать. Поднял руку и председатель. И тогда зал pokrылся лесом поднятых рук.

Не успел представитель из района и глазом моргнуть, как ведущий собрание объявил:

— Заносится в протокол: абсолютным большинством голосов — свиноферму ликвидировать как нерентабельную. Восполнить и значительно увеличить продажу красного мяса, для чего сосредоточиться на крупнорогатом...

Зал пустел. Со двора отъезжали машины. Петовский сердито прошествовал в кабинет председателя и парторга. Подходили бригадиры и специалисты.

— Имей в виду, Житков, — резко сел Петовский на стул у стола буквой «т», — я буду ставить вопрос о сегодняшнем совершенно официально. Это же явное игнорирование нашей установки. И ты за это ответишь.

— Вы налетом меня не берите, — как-то сразу посрежив лицом, медленно поднялся из-за своего стола Житков. — Отвечу, отвечу и перед народом, и перед бюро райкома, если потребуется. Не отсебятину порем, знаем, куда сейчас ветер...

— За ветрами не набегаешься.

— А если хотите, перед партией ответите вы: как на деле выполняете решение о специализации?

— Не забирай так высоко, Николай Егорыч,— утер платком Петовский вспотевший лоб.— Специализация — это перспектива, а району вот сегодня, сейчас, ежесекундно... вы извините за гиперболу... ежесуточно надо отправлять государству яйца, свинину, молоко. А пока будем переводить хозяйства...

— Так давайте, давайте откажемся от нее,— заходил по кабинету Николайчик.— Оставим все, как было, каждой твари — по паре... Смешно? Как это говорил лектор вчера: в недрах старого зарождается новое. Вот мы, это самое, у себя... и зарождаем.

— Значит, не пришло еще время.

— Это вы по району судите.

— Да, мы за весь район отвечаем.

— А по нашему колхозу пришло. Мы со своими планами по молоку и мясу справляемся? Справляемся. Можем мы искать новые пути? Можем. И не держите нас, как мальчишек за шиворот. Других на свинине специализируйте. Регулируйте. А решение партии не тормозите.

— Ишь ты, приткий какой,— поднялся Петовский и, достав из кармана платок, стал утирать изрядно вспотевший нос.— Ишь, к чему свел: мы, значит, тормозим... И все же сегодняшней разговор, мне думается, без последствий мы не оставим.

«Газик» Петовского зарычал и, пустив дым, укатил в райцентр. Постепенно разошлись, разъехались бригады, специалисты. В кабинете остались двое.

— Ну, а ты что скажешь, парторг? — повернулся к Позичеву Николайчик.

Позичев увидел, как морщины за один этот день еще резче прорезали его лоб, как-то помялось, стало земли-

стым лицо. «Нелегко ему... воевать,— думалось Позичеву.— Воитель. Дед дедом, а куда до него молодым».

— Верно ты ему о решении партии,— подбирая слова, сказал Позичев и потянулся в карман за «Беломором».— Надо смотреть в перспективу.

— Да-да-да. Не шибко грамотные, но, между прочим, тоже книжки читаем... Эх, Миша, Миша,— повернулся Николайчик,— жизнь-то какая идет! Помирать неохота. Вот мы сейчас трубим: мясо, мясо, молоко, молоко... А для кого мясо, для кого молоко? Некоторые думают: сначала накормим человека, а потом будем воспитывать. А вот ты-то как думаешь, парторг?

— Да что ты мне все загадки загадываешь? Ну, яснее ясного: и кормить и воспитывать надо.

Николайчик подошел к окну, долго смотрел во двор.

— Я вот долго думал об этом,— сказал он необычно медленно, почти вразяжку,— и вот что надумал. Человека воспитывать — это прежде всего дать ему высшее человеческое понятие. Сперва добивались, чтоб человек научился складывать буквы, читать. Добились. Потом — где-то в книжке попало, не помню — бились, чтоб он Белинского и Гоголя с базара поволок. А вот он не Белинского и Гоголя, а тесок хочет унести. И не с базара, а с колхозного двора. Как, изволите, быть?

— Я думаю, мало человека научить складывать буквы. Этому и обезьян скоро, наверно, научат. А надо дать ему высшее человеческое понятие. Так. А что же это такое? Я и сам толком не знаю, все думаю, думаю... Вот как Ленин чтоб. Понимаешь? Как Ленин. Чтобы совесть была, как холсты отбеленные, чтобы никто не мог на нее наступить. Ни сам, ни другие. Чтобы, как у Ленина, было понятие обо всей механике мира, о себе, о людях, о земле. Чтобы, если что не такое, так прямо в бой... Вот и придешь ты, сынок, Михаил Николаич, к тому самому

сорту людей, которые всю жизнь недовольны и собой, и другими...

— А вот есть у тебя, Николай Егорыч, практическая мечта? — спросил председателя Позичев.

— Мечта? — запнулся вдруг Николайчик. — Практическая? А если б не было, не поднимал бы сегодня руки на собрании. Есть мечта сделать колхоз, может быть, лучшим в области. Да. И не чтоб напоказ — туристов сюда возить, а чтоб людям здесь жилось, так жилось... Я понимаю: на одном своем полозу далеко не уедешь. Наука нужна и все новое... У меня есть мечта сделать первый мехток в районе. И чтоб специализацию не так, с кондачка, а по-серьезному животноводческий городок возвести. И культурные пастбища, и обслуга по последнему слову...

А еще по секрету, мечта моя личная, но полезная, Михаил, для хозяйства. Ты сказал мне — не помнишь? — однажды: чем, мол, ты, Николайчик, отличаешься от помещика, от того же графа Каменского? Вот и еще одно, понимаешь, отличие... В общем, граф разводил цветы, розы даже в Германию вывозил. Ну, и я тут надумал... тоже, понимаешь, честь по чести теплицу. Только я цветы для народа: горожанам хорошо и колхозу доход... Пишут газеты про народные промыслы: кто на зимний момент дуги гнет, кто какую лепит посуду, ну, а мы затеваем цветы. Плохо только с трубами для теплицы... В общем так: всяких думок, дел накопилось, едем скоро в Москву, к самому министру, советоваться. Едем. Вот так, а то как же...

Солнце снизилось. Остывающий луч отыскал щелку в оконной занавеси, высветил лицо Николайчика. В какой-то миг Позичев успел схватить взглядом в нем то решительно молодое выражение, которое бывает не часто, обычно оно затянута сетью морщин, житейской

мудростью, что с годами ложится на лицо человека. Плотный, грудь колесом, большая голова и большие, с хитринкой, глаза, мощные, почти сращенные брови. «А цветы — замечательно. До города близко, не то что графу тогда до Германии».

#### 4

— Спишь, спишь, холостякуешь,— раздался над ухом раскатистый говорок, который не спутаешь ни с каким другим и во сне.— Привык на работу к девяти.

Перед Позичевым стоял Николайчик. В новом темно-сером костюме, белой нейлоновой рубашке под галстуком и форменной председательской, со стоячим околышем, ни разу не надеванной — по крайней мере Позичевым еще ни разу не виденной — диагоналевой, защитного цвета фуражке. Щеки Николайчика лоснились от широкой улыбки и одеколona.

— Жених,— мигом продрал глаза Позичев.— Куда это... вырядился?

— Шляпу с собой захватил, в машине... Голову все ломаю, как к министрам обмундировываются. Победнее, попроще? Может, скорее выпросишь чего, на бедность-то... А с другой стороны: если бедный, так почему в наше время? Довел, значит, колхоз до ручки? Нет уж, надо при всем марафете, чтоб с тобой всерьез говорили. Только шляпу не... как на корове седло.

— Тащи сюда ее, к зеркалу,— оглянувшись, подмигнул Позичев своей хозяйке Матрене Федотовне, которая давно уж следила за ними из-за занавески.

Николайчик вертелся перед зеркалом так и этак; то надвигал шляпу на лоб — «так больно серьезный», то отбрасывал на затылок — «а так, как приказчики, бывало, у купца Венедиктова», то сдвигал на висок —

«ухарь из заграничных кино, да и только». Позичев крутился-вертелся вокруг него, в чем был с постели, сверкая незагорелыми икрами, уговаривал его, что и так хорошо, и по-другому неплохо.

— Нет,— решительно снял шляпу Николайчик.— Тут, парторг, ты меня не учи. В чем ином приветствую, а тут перед министром я должен, понимаешь, как... как... перед генералом Беловым. И ты, мать,— кивнул он хозяйке Позичева,— тоже одень своего молодца по всей форме. Едем, понимаешь, в Москву!

Через полчаса «Волга» несла их по дороге к райцентру. Шляпа лежала — на случай — позади у стекла, Николайчик восседал за рулем в своем председательском картузе. На выезде из села дорогу перебежала женщина с пустыми ведрами.

— Тьфу ты! — осадил Николайчик машину.— Чтоб тебе пусто было! Теперь хоть не езжай, не будет дороги.

— Да брось ты,— заерзал Позичев.— В самом деле. Ты бы еще перекрестился.

— Не-ет уж, ни в богов, ни в чертей не верю. А насчет баб с пустыми ведрами — это уж точно, тогда поглядишь. Или в райкоме обернут, или в министерстве не застанем министра... Ну, да ладно.

Высочили на большак. «Волга» набирала скорость. Проскочили один тополек, второй. Позичев покосился на них и отвернулся: сколько их может быть еще впереди.

Проезжая через Орел, Позичев порывался попросить председателя заскочить на одну тенистую улочку, где в старом деревянном домочке, как и прежде, жила на квартире его жена Аннушка. Недолго жили вместе, не успели привыкнуть. В деревню ехать с ним отказалась. А ему все не верится, думается, утрясется все,

возьмет в ней свое, деревенское, и потянется она за ним, Михаилом, к земле. Вот и живут: он — в одиночку и она — так, ни вдова, ни мужняя жена. Хозяйка Аннушкина, когда он заскакивал к ним, шепнула ему, что с недавних времен к Аннушке стал похаживать тот, чернявый, что с ней в одном цехе...

Орел мелькнул в один миг. К вечеру они подъезжали к Москве.

Москва встречала их тоже принарядившись. С того времени, когда Позичев был здесь в последний раз, многое изменилось: не узнать было въезда с Симферопольского шоссе. Слева плыли белоснежные, воздушные, тысячеоконные парусники-корабли — многоэтажные здания, жилые дома и магазины. «Так вот почему она белокаменная. Белопарусная Москва...»

Они поселились в новой гостинице, над этажами сияло — «Россия». Уже одно это название — после всех уличных шумов, обгонов, поворотов и разворотов, завершившихся, наконец, ощущением блаженного покоя в номере, — уже это вселяло в них уверенность, даже гордость, как будто сюда, в Москву, к их приезду переметнулась частица их далекой селищенской земли.

Ночь у Позичева проходила в раздумьях, то же творилось и с Николайчиком. Несколько раз Николайчик вставал, подходил к окну, отодвигал длинную, до пола штору и долго смотрел на Москву-реку.

Темь постепенно спадала, начинался рассвет. Порой Николайчиком овладевало желание бросить все и укатить обратно. Но он мысленно строил план разговора с министром. В подробностях, в предвидении всех возможных случайностей. Мысль то приобретала ясность, то утекала в туман. Если что о колхозе, он ему все цифры выложит наизусть, за несколько лет.

— Ну-ка, где у тебя газеты? — обратился он к Позичеву.

Тот достал из портфеля подшивку. Склонившись, Николайчик начал подчеркивать что-то красным. «Ну-ка, ну-ка, еще раз взглянем, что тут писано о нас в последние годы?»

Они вышли на нужной станции метро. Двери выбрасывали на улицу людской поток, и он, завихряясь, уходил за киоски. Между дверьми и киосками было небольшое пространство, свободное от народа, Николайчик шагнул туда. Снял фуражку, вытащил шляпу из портфеля, снял шляпу — надел снова фуражку. Махнул рукой, остался в фуражке. В защитной своей, председательской.

— Пошел! — сказал он себе решительно, ступил за порог и зажмурился: окна выходили на солнце. Сразу все пошло не совсем так, как рассчитывал Николайчик. «Здравствуйте. Присаживайтесь. С чем, товарищ, пожаловали?» Тут же улетучилась всякая стройность, Николайчик защелкал замком портфеля, достал объемистую подшивку и протянул министру.

— Вот, — положил он на стол и вздохнул облегченно.

Министр углубился в поданные бумаги. Временами глаза его останавливались на цифрах, подчеркнутых красным, морщины на лбу распрямлялись. «Ничего, значит», — переводил сам себе Николайчик.

— В общем, показатели неплохие, — поднял глаза министр, — а вот тут...

— Верно, верно, это вы верно, — зашепшил Николайчик. — Это поправим. Вы поможете, мы поправим.

Прошли отведенные на аудиенцию десять минут, а они все говорили, говорили. Продолжая смеяться на шутку, ввернутую, видимо, к месту Николайчиком, ми-

нистр самолично проводил его через весь кабинет, потом через приемную.

— Ну как? — встретил его у входа, сгорая от нетерпения, Позичев.

— Да посидели, потолковали... по перспективам, — сказал Николайчик солидно. И подмигнул: — И трубы для теплицы, между прочим, выпросил, пару вагонов леску, а то, сам понимаешь, добились, в колхозе ни палки...

— А что же по перспективам? — перебил его Позичев.

— В газетах скоро будешь читать. Правительство принимает серьезные меры... Между прочим, по животноводству. Комплексы по стране будем строить. Так что углубляется специализация. Понятно, сынок?

Настроение было великолепное. Когда еще так удастся съездить в Москву? Они решили пройтись по Красной площади. На ней всегда так многолюдно или только сегодня? Идут в одиночку и парами, целыми группами. В мохнатых папах, пестрых халатах, черкесках, просто в обычных костюмах. Разноязыкий гомон и одинаковый смех... Так, все на месте — мавзолей с часовыми, Спасская башня, краснокирпичные, всегда словно новые, кремлевские стены. Много красного в соборе Василия Блаженного, в Историческом музее. Красная площадь...

— Что сегодня, какой-нибудь праздник? — наклонился Позичев к проходящему мимо в папаше.

— Салют будет, — удивилась папаша, — фейерверк! В честь космонавтов.

Высоко в небе плыл самолет, тянул за собой пуховую дорожку.

— Летают ребята! — восхищенно сказал Николайчик и вздохнул: — Только там тополек не посадишь.

Они попали в людской поток, который, огибая Василия Блаженного, неудержимо стекал вниз по брусчатке, на Каменный мост.

— Так, ты говоришь, четыре сорта людей? — остановился Позичев, но на него тут же наперли, заставили двигаться.

— Ну, может, и больше... Это четыре колодки, а в колодках еще и модели.

— Так вот я все думаю о твоём первом сорте, — Позичев на ходу потянул «Беломор» из кармана. — О недовольных. И собой, и другими.

— А тебе что нужно? — остановился вдруг Николайчик. — Покой? Шито-крыто чтоб? Тишь да блажь?

— Нет, почему же. Мне нравятся люди энергичные, дельные, но я за гармонию.

— А я за гармонь, ха-ха-ха, — рассмеялся Николайчик, так что головы проходящих повернулись к нему. — А к гармонии в момент не подберешься. Пальцы обломать надо, пока обрабаешь ее, дьяволицу.

Теперь они стояли посередине моста. Отсюда хорошо был виден и Кремль — седой, торжественный, золототерый, и Москва-река, по которой из-за моста как раз выходил прогулочный теплоход. И вдруг небо дрогнуло, зашаталось, рассыпалось тысячью брызг, брызги повисли и над головой, и внизу, в реке, Кремль окутался дымом, и Николайчик и Позичев тоже вздрогнули и почувствовали себя невесомыми, звонкими, где-то между звездами, на борту стремительного корабля, который летит, ловит своим серебристым телом Солнце, уже зашедшее для иного края планеты, и вместе с ними гонятся за ускользящим Солнцем все, кто сейчас рядом на этом мосту, на всей Красной площади, по всей, всей Москве, по всей необъятной Родине.

После Москвы Николайчика обуюла жажда деятельности. Лицо еще больше потемнело, почти обуглилось. Он не давал никому покоя. «В поле, в поле, к людям, к людям,— повторял он свое.— Бумаги будут — молока не будет, ржи не будет, на кой они, такие бумаги».

Жара не спадала, солнце ярилось, как и прежде, за месяц не перепало дождевки, седая пыль висела в воздухе и скрипела на зубах, и люди, и скотина измучились, Николайчик с утра отпаивался крепким хлебным квасом из погребца и тогда до вечера мог мотаться по бригадам, по фермам, в райцентр.

Позичев позабыл, когда с ним и виделся. Сегодня Николайчик, наконец, остался в конторе, собирал заседание правления. «Раскисли тут, развели нюни,— застрочил он, как обычно, и подмигнул Позичеву.— Сейчас такое подкину». И, действительно, сообщив, что в адрес колхоза поступает оборудование для механизированного тока, он тут же предложил сформировать ударную бригаду и возложить руководство ею на своего заместителя Максима Глыбакова.

— В общем, боевое задание,— сказал Николайчик.— К уборочной мехток должен принять зерно! А мы с другой бригадой займемся культурными пастбищами...

Глыбаков вел дело сноровисто. Наведываясь на ток, Позичев замечал каждый раз продвижение: конусами повисли огромные бункера, установлены и подключены зерносушилки, монтируются транспортеры. Работали весь световой день.

— Первыми будем в районе,— обегал председатель строительство и подходил к Глыбакову: — Трое смогут

здесь управляться. Пускай другие к нам потом едут, учатся. На наш каравай — глаза разувай.

Повертевшись на току, Николайчик мчался в луга. Вдоль и поперек по лугам уже протянулись пунктиры столбов, связанных проволокой. Иногда Позичев ловил его тревожный взгляд: а не поспешили ль мы с этими культурными пастбищами? Ведь дерево, деревянные столбы заколачиваем. Надолго ль они в сырых-то лугах?

— Верно, верно,— уже вслух говорил Николайчик.— Как министр мне говорил: пока это промышленность освоит железобетонные пасынки, а нам уже сейчас нужно. Гляди-ка.

И Николайчик поддевал землю носком сапога, и сапог зарывался в мягкое и сухое, разбитое в пыль копытами, пыль тут же сдувало суховеем, на вздохи доярок, помогавших плотникам, Николайчик отвечал не сердито, не весело, но с надеждой: «А поливать скоро будем. Протянем шланги из речки и ну поливать! Травы́ станет — пропасть, и всю ее ладком да рядком, не под копыто»,— и доярки улыбались и смотрели на него не сердито, не весело, но с надеждой.

— Эге-гей! — бежал от деревни кто-то.— Эге-ге-ей, пож-а-ар!

— Бабы, и вправду пожар, глядите,— сказала, словно бы не веря сама себе, Анюта Оборнева.— Ой, мой дом, наверно!

Невесть откуда слетевший ветер швырял по деревьям клочья черно-белого дыма, дымилось все Оборнево.

— Ах ты, господи,— вздрогнув, так и осел Николайчик.— Весь колхоз спалят мне, по миру пустят.— И мигом нырнул в машину, отворил дверцу: — Грузись, бабы!

«Волга» мчалась на дымы прямо по свекольному полю.

Искры срывались с крыш и, пригибаемые ветром, неслись вдоль строений. Звенело от устоявшейся за лето сухости каждое бревнышко. Огонь с ревом драл уже третью постройку, а подле них еще никого не было. То ли где-то в отлучке хозяева, то ли еще в хатах, не зная, что где-то созрела, вырвалась и летит та самая искра.

Бабий вой понесся от усадьбы к усадьбе.

— Сынок! — метнулся к Позичеву председатель. — Давай к людям, к народу. Крыши поливать, крыши. Держать огонь. Я сейчас. Поднимаю колхоз, район, область. Всех пожарных. Ты давай, комиссар! Я сейчас...

Николайчик покатился к дому бригады, к телефону... «Черт знает что! Да что они там на телефонной станции заснули, что ли?! Наконец, слава богу. Девушка, мне пожарную часть района... Мне соседей — колхоз «Заветную мечту»...»

Искры падали уже перед окнами, залепляли стекло, дым натекал в открытую форточку, сбивал дыхание.

— Николай Егорыч, — забегали люди. — Выходите скорее, опасно.

— Девушка, родная, мне колхоз имени Ленина. Да, да, колхоз Ленина...

— Николай Егорыч! — стучали люди в окно.

— Это Орел?.. Пожарная охрана?..

— Николайчик горит! — слышались голоса. — Николайчик в конторе... Да вытаскивайте, тащите его... А ну, лезьте на крышу. Лейте, лейте воду...

К дому бригады сбегался народ, становился в цепь. Все быстрее ходили ведра из колодца на крышу. Из рук в руки. Скорее, скорее! Председатель же там, Николай-

чик. И стояли цепочками, сгибаясь в рубахи и фартуки от едкого дыма, от осиных укусов искр.

Когда Николайчика вытащили наружу, улицы уж не было видно. Но он успел оценить обстановку: на крыше Таисии Оборневой поливают железо, на сарае тоже люди — поливают солому. Поливают и дом у Пьяновых. И уже по дороге к Оборнево бежали и ехали люди. На лошадях, на машинах, на тракторах. В кузовах, на тележках, навозоразбрасывателях. С Грачевки, Криволожки, Лебедек и Сенькова. А где-то там, на центральной усадьбе, все били и били о железо железом, о подвешенный рельс, и тревожный голос набата летел от усадьбы к усадьбе, по колхозному радио разносился в самые дальние точки, заставлял вздрогнуть: уж не война ли? И, услышав, что в беде все Оборнево, люди схватывали что попадя под руку — выварку или подойник — и мчались к ближнему шоферу или трактористу: вези скорее. Бежали на зов набата, как некогда пращурь; сходились, словно дружины. Звучит набат — и бередит, крепит, поднимает русскую душу, потом она век кипеть будет, одна клониться к другой...

— Сюда, товарищи,— встречал подходивших Житков и кого ставил в цепь, кого посылал вверх, на крышу.

Из рук в руки летели ведерки, выварки, чайники, даже лоханки. Вопли совсем прекратились — некогда было. Лишь гудел и гудел пожар, ветер стелил искры вдоль улицы, но дома уже больше не загорались. Только теперь стал проясняться замысел Николайчика: не дать искрам переметнуться за спину, вызвать новые очаги. В таких случаях тушившие оказывались в кольце, начиналась паника, каждый бежал кто куда; тогда и сносило, бывало, деревни дотла. Николайчик строил фронт из трех линий. Первая, и самая мощная, сража-

лась с самим пожаром, вторая — гасила «зажигалки» на подступах, третья, в основном ребятишки, — расселась по всем остальным крышам, сбивая сырыми тряпками и сюда залетающих «воробушков».

Нагоняя жуть сиреной, пролетела первая пожарная машина — сочно-красная, в блестящих железках. Пацианты посыпались с крыш. «Назад, назад!» — крикнул Позичев и кинулся вслед за машиной показывать место, но бойцы уже тянули ребрастый шланг. Ударил первый брандспойт, водяная стена стала перед огнем. Краем глаза Позичев видел, как носится, расставляя всех, Николайчик, и сам, махнув рукой, бросился к брезентовым робам.

Дом пылал, и сумасшедшее пламя перевивалось, крутилось, плясало, то разом вытягивалось и уходило в небо, то длинным косматым языком старалось лизнуть в глаза, брови, щеки. Потнолицый, сердитый парень бил пенной струей под застреху; пламя, вильнув, обвило соседнюю грушу, листья на которой — зеленые — уже звенели от сухости. Парень бросился отсекал сад. Позичев потащил за ним шланг, продираясь сквозь вишенью. По тому, как полегчал вдруг шланг, он почувствовал рядом еще кого-то — Максим Глыбаков... Теперь уже все, одолеем, сколько техники, сколько людей. Кажется, Глыбаков воевал под Москвой? Там неизвестности не было — костями лечь, но не пропустить. Костями лечь, и никаких сожалений. Ведь жизнь твоя перельется, перейдет в другие, продлится в потомках, и ты повторись, и все повторится... Огонь только с виду так страшен, и ты перед ним до времени, как эта груша, но сгинул огонь, как и не был в природе, а где-то в корнях бродят соки, и, значит, снова взвоятся побеги, вспоенные вечно живой, зернистой землей.

Груша уже занялась, пеклись, падали наземь пло-

ды. Рядом подсыхала вторая. И пламя с первой готовилось перекинуться дальше, пойти по макушкам садов и обсадов, выбирая все самое лучшее, зеленообильное.

Пожар шел на убыль. Машины сделали свое дело. По деревне стояли лужи, сбегали в низины ручьи, похоже было, над местностью, наконец, разрядилась туча.

Николайчик шел по пепелищу. От всего пережитого он как-то странно икал, тело было свернуто в жгут, отпускалось неспешно. Белая рубаша была в копоты и грязи, пиджак местами прожжен. Опытным оком — всяко на фронте видалось — оценивал он ущерб, смотрел прямо, не отводя взгляда, в долгие, молчаливые глаза погорельцев. Подошел к крайнему дому: крыши нет, одни стены, сарая тоже нет. В палисаде на лавочке, спиной к нему, сидела женщина, упершись лбом в обожженную сливу. Постоял рядом, поправил фуражку.

— Ульян, а Ульян,— подал он голос и снова икнул.

— Чего скалишься?! — взорвалась Ульяна.— Оскопляются всякие...

— Я не всякий, я председатель,— сказал Николайчик.

Ульяна подняла голову и виновато взглянула на Николайчика.

— Знаю, дом — это тебе не сундук даже,— присел Николайчик на лавочку.— Да ведь живы все.

— Да-а,— скривилась и заплакала женщина.— Дом, он и был, как сундук,— весь в обшивке да под масляную краску. А в хлеву порося-ятушки розовые-и-и-и... Все руками свои-и-ими...

— Да уж чьими еще, ты у нас работающая. А теперь — я так думаю — будем вместе, всем гамузом. Видела, как набежали, наехали?

— Полздоровычка на хоромы убила...

— Ты, Ульяна, молчи, молчи. Дом, как улей, я знаю. Уже срубишь, а потом повертишь, повертишь и давай его то шершебком, после того рубанком, дальше, значит, фуганком. Отфугуешь, так оно — и ладонью, ладонью, а под самый конец язычком.

— Язык-о-ом,— опять закрыла сырое лицо руками Ульяна.

— Да не языком,— вскочил Николайчик,— а зерном, лесом поможем. А то, может, и плотниками... А то сам. Вот тебе моя голова, вот тебе мои руки, завтра приду с топором.

Долго еще в колхозе пахло оборневским пожаром. Кому-то выписывали зерно, выдавали ссуду, для кого-то снаряжали машину за шифером, тесом. Но шло время, и одни заботы перекрывались другими, жизнь, как и речка Цон, катилась по давно промытому руслу.

Цон изначально рождался где-то у Брянских лесов и кончался пониже, впадением в стрежень Оки, успев пройти не длинную, но полезную для приречных селений дорогу. В последнее время, когда илом с полей подняло и выперло ввысь топкое ложе, ему пришлось самому искать, заглублять, промывать и даже менять свое русло. Там, внизу по руслу, и гнездились торфяники.

В декабрьские деньки, в венце года, когда, убрав урожай и выполнив планы, можно было наконец разогнуть спину, в адрес колхоза пришли трубы: Москва свое помнила. Целыми днями Николайчик просиживал теперь в кабинете — то с членами правления, то с главным экономистом. Собрался в город, на плодово-ягодную станцию. За опытом и еще кое за чем.

— В шефы, в шефы их надо,— суетясь, подмигнул Позичеву Николайчик.— Знаю, за что их подцепить. Им торфокрошка нужна, удобрения. А ее пропасть в

пойме, все равно без движения. И колхозу от шефов польза, и вообще государству...

— Масштабно,— обмозговывал Позичев слова Николайчика.— О государстве вспомнил и... себя не забыл. Чистый крестьянин. Ну, да лишь бы все было законно. И опять же хорошее дело — цветы.

Он поймал себя на том, что уже, как и Николайчик, начинает думать не только о красоте, но и о доходе, о прибыли.

— Хорошее дело,— повторил уже вслух Позичев хмуровато.

— А ты чего, ай зубы болят или блинов с утра случаем объелся? — встрепенулся Николайчик.— Со мной поедешь или тут, на телефоне... поруководишь?

— Да ладно, на телефоне.

— Ну давай, давай.. Привезу твоей хозяйке тюльпанов. Там, говорят, во какие — голландские.

К вечеру Николайчик и в самом деле влетел в кабинет с горстью жарко-красных тюльпанов. Парторг поспешно сунул в стол план месячных мероприятий, залюбовался тюльпанами. Дрожали на лепестках серебристые капли, падали внутрь на ворсинки, и дрожали ворсинки. Пока Николайчик гремел, что там было да как, Позичев поставил цветы в графин, и они, еще не успев замкнуться на ночь, ало и мощно полыхали на весь кабинет. Синевой наливало за окнами, каждый цветок, уходя на ночлег, весь вытягивался, стройнел, лепестки являли строгие линии, уже новую красоту. «Хорошо-то как,— трепыхалось в груди у Позичева.— Вот наш дед что удумал. Неужели и мы... сможем сами... такое?»

— Да-да, пока суд да дело, землеустроительные работы, проекты,— нарушил молчание Николайчик,— а

человека для теплицы уже сейчас искать надо. Любителя!

— Да кого ж тут у нас, Николай Егорыч?

— Кого? Да Юхима же! Глянь, какой у него свой палисад. Пусть теперь на людей постарается.

Под окна подкатил «козел», седовато-снежен, наискось сбоку лопата. Кажется, Катерина Долинина, председатель «Заветной мечты». Наслышан Позичев про ее красоту и характер, жесткий, решительный, из-за которого да еще, говорили, из-за любви к своему колхозу она до сих пор ходит незамужней, хотя у ее институтских подруг уже выросли дети. Замужем она пробыла всего две недели, муж ее, летчик, когда она была на последнем курсе, погиб при исполнении, и она с той поры вековала одна, отдавала все свои силы работе. Дослужилась до председателя. Сейчас уже легче. Признали ее в деревне, мужики-председатели зачислили в свой батальон. Только жены их — она знала — задевали каждая своего, когда тот задерживался: уж не с вековухой ли? Вековуха да вековуха, пускай себе...

Рванулась дверь — так и есть, Катерина Долинина. Серый пуховый платок, серые козьи глаза, красивые. Губы крупные, яркие, лицо смугловато, обветрено.

— А, Катерина Евлентьевна, — идет, спешит навстречу ей Николайчик. — Милости просим.

— Ты дома от порога снег откидываешь? — усмеяется она и сдвигает брови. — Хоть бы бульдозером до Семеновки расчистил.

— Твоя дорога, сама и чисть, — останавливается Николайчик.

— Твое, мое... Н-ну, буржуи! — говорит Долинина резко и вдруг замечает тюльпаны: — Ой! Красота-то!.. Да у вас средь зимы и снега не выпросишь.

— Бери,— схватывает Николайчик огневые тюльпаны и сует ей вместе с банкой. Виновато смотрит на Позичева.

— Берите, берите,— кивает Позичев.— У нас скоро много будет.

— Много? — окунается лицом в тюльпаны Долинина. Серые глаза, огневые цветы. И смотрит, смотрит на Николайчика.

— Теплицы задумали,— отворачивается Николайчик.— Так, пустячное дело. А все же приятно. Хочешь в кооперацию, вноси пай,— оборачиваясь, говорит он сам для себя неожиданно.

— Мы еще поглядим.

— Гляди, гляди,— обижается вдруг Николайчик.

— Ну, уж букет всегда будет завётовцам? Мне хотя бы... на день рождения.

— Много вас,— дергает Николайчик ящик стола и бормочет под нос себе: —хлопот с этой вековухой, беда.

— Ах, так,— вспыхивает председательша.— Забирай обратно! — бухает она банку перед Николайчиком.— Волоки домой.— И протопала по коридору, хлопнула дверью.

Сидели тихо. Ветер бил открытой форточкой, начал лепить мокрый снег.

Наутро Позичев сам отпирал кабинет. Обычно Николайчик был уж на месте, звонил-называл всюду, куда только ни заводила нужда: в бригады, в район и область, Брянск, Тулу, в Москву, даже в Сибирь. «Вся страна у меня на проводе»,— шутил иногда Николайчик. А тут тишина. Подумалось о вчерашнем визите Долининой, об огнистых тюльпанах и серых козьих глазах. Позичев потер руки с морозца и прошел к своей этажерке: надо просмотреть литературу к очередному

занятию народного университета. Взял в руки книгу по политэкономии, задумался.

Скрипнула дверь, Позичев поднял глаза.

— Входите, товарищи.

Вошел всего один человек — дядька Юхим. Остроликий, тщедушный, с козлиной бородкой, покашливает.

— Легок на помине, вчера вас как раз вспоминали,— привстал Позичев.

— Легок, а то как же,— откашлялся дядька Юхим.— Нужда привела. Есть управа у нас на тех, кто с портфелями, ай нет? Пришел к тебе жалиться на Николайчика, дюже обидел. Ты у нас это... как он сам говорит, комиссар, ты и принимай к нему по своей, значит, линии это... самые твердые мероприятия.

— Сразу прямо так и мероприятия?

— Гляди, полбороды, идол, выщипал.

Дверь заскрипела, и в кабинет, как всегда поспешно, вошел Николайчик. От неожиданности остановился, уперся колючим взглядом в Юхима:

— Кляузничать пришел?

— А то как же,— выдержал взгляд его дядька Юхим.— Бороду выщипал не за здорово живешь.

— Выщипал! Да разве ж это, скажи, борода?

— Борода, а то как же,— провел ладонью по жидким волосикам дядька Юхим.— Всю жизнь ходил, была борода, а теперича ему уж и не борода.

— Ты бы ее аммиачной селитрой, может, погуще станет.

— Николай Егорыч! — не выдержал Позичев.— Что это в самом деле? И как все это понимать?

Николайчик махнул рукой и прошел на свое место, тяжело опустился на стул:

— А ну его. Ну, дернул маленько, так было за что.

— Садитесь, садитесь, дядя Юхим,— подал стул По-

зичев и повернулся опять к Николайчику: — И что же, надо человека за бороду?

— Какое там,— снова, теперь уж с досадой, махнул Николайчик.— Ну, прихожу к нему вчера вечером, как годок к годку. Говорю ему по-товарищески: так и так, мол, Юхим, теплицу затеяли, иди цветоводом. У тебя, дьявола, рука легкая, вон какие цветы у тебя в палисаде...

— Дак одни георгины.

— ...а он мне: дак одни георгины. И притом — то себе, а то обществу. Да что ж тебе, Юхим Никанорыч, общество, что ли, струмент переехало? Домом под шиферок обзавелся, пенсию тебе носят, племя твое по всяким там школам распихано, а теперь обществу можно шиш с маслом? А цветы, между прочим, на земле колхозной сажаешь. Эх, как вскочит он и дулю под нос мне: накось, говорит, тебе, я на пенсии. Ну, и дернул его... за дулю, получилось за бороденку. Так за что там и дергать, ухватиться там не за что.

— И еще оскорбляет! — почти плача, вскочил дядька Юхим.— Бороду мою... Граждане, прошу на бумагу.

— Товарищи, товарищи,— встал парторг из-за стола.— Солидные товарищи, а ведете себя, как мальчишки... Вы, Николай Егорыч, вы же в корне неправы. Вы же знаете, пенсионеров можно привлекать по согласию.

— Так я тоже на пенсии! — вспыхнул Николайчик и швырнул с досадой фуражку на стол.— По ранению, правда. А вот вкальваю, кручусь... Я тебя, Юхимка, на коленках просил. Ведь цветы, понимаешь, цветы...

— Да не умею я, не могу.

— А теперь пожалеешь, пожалеешь у меня.

— Вы, Николай Егорыч, ведете себя недостойно.

Партия вам доверила. Придется напомнить права и обязанности...

Позичев говорил, говорил, а снежинки за окном сыпались, сыпались на еще не настывшую землю и все таяли, таяли, после не стали таять, и в комнате сделалось чище, светлее, стены вроде свежей, непрокуренной, словно вчера побелили. Первый, а поздний снежок; может, сойдет, а может, и ляжет, укрепитя, укроет периной озимое.

Все смотрели в окно.

## 7

Через неделю в колхозе стало известно, что на Николайчика в район поступила бумага. Тот самый работник производственного управления Петовский, не заезжая в контору, проехал прямо к дядьке Юхиму, часа полтора песочного цвета «газик» торчал возле дядькиной хаты. Всяческих гроз Николайчик перевидал на своем веку предостаточно, но тут, конечно, совсем иное: черт его дернул зацепить эту сивую бороду... И Позичев ходит мрачнее мрачного...

— Слышь, Максим Данилыч,— обратился Житков как-то у зерносклада к своему заместителю. Машины гудели и гудели, словно шмели, очищая зерно.— Слышь, говорю, остарел я, наверно, и устарел. Нервишки не те, да и так, видать, не совсем все понимаю. Так что готовься принимать портфель.

— Да ты что, Николай Егорыч! — удивился Глыбаков и задумался.— Не-ет, брат, что-то не то. Колхоз идет в гору, планы мы выполняем. Такими людьми не швыряются.

— А-а,— махнул Николайчик.— Пора, пожалуй... Годы,.. Знай, сверчок, свой шесток.

С вечера Позичев предупредил о завтрашнем заседании партбюро. Среди прочих вопросов и «персональное дело». В конторе не осталось уже никого, в кабинете только они вдвоем.

— Сегодня писать заявление или после того? — спросил Николайчик.

— Тебя председателем партбюро выбирало?

— Стар уже я,— вздохнул Николайчик и убрал голову в плечи.— Уже, брат, не то...

— Не виляй.

— Да нет, я серьезно.— Николайчик положил руку на телефон и задумался.— Сюда нужно молодого, с образованием. Обязательно с экономическим. Чтобы мог сам все сосчитать, подсчитать, рассчитать.

— Да зачем сам, у тебя специалисты вон как работают. И энергии еще хоть отбавляй, и людей понимаешь. Но «за бороду» — будем бить. Крепко бить, попартийному. Да и не в одной бороде тут, конечно, дело. За то ругать будем тебя, Николай Егорыч, что колхозную демократию стал нарушать. Не заметил? А спросить тебя, сколько раз собирал правление за зиму? Все сам. А ведь это колхоз. Коллективное хозяйство. И строим в нем мы не только стенки, но и нового человека, хозяина всего общего.

Позичев передохнул, повернулся лицом к Николайчику, озорно подмигнул:

— Вишь, как я тебя. Сам же просил: ругай, мол, меня, комиссар, ругай, дизелю и тому хвоста рукояткой накручивают... А еще беспокоился, что везешь в колхоз не парторга, а соглашателя.

— Да-да, из машины хотел тебя...— оживился Николайчик.— Это верно, а вишь оно как... С людьми стало трудно работать,— вздохнул он.— После войны одна трудность была — подымались из пепла, теперь дру-

гая — дальше двигать хозяйство. Всякому времени своя трудность. Раньше больше на энтузиазме, теперь больше все на рубле, на рубле... Экономическая это... реформа надвинулась. При ней понятие нужно большое: где и как крутиться, чтоб взять и чтоб взять, сынок, честно. Законно, ты понял?

— А ты как бы хотел? Под лежащий камень вода не течет. Идем в будущее, а оно кем изведано?

Долго еще в конторе не гасло окно, на занавеске двигались тени. Они то сходились, схлестывались, то расходились по сторонам. Вздыхались руки, когда особенно забирал разговор, склонялись над столом головы. Двойные рамы скрадывали, а то и вовсе глушили звук. И только раз Славка Пиняев и его Рюмочка-Риммочка, которых только любовь могла привести в столь поздний час к конторским березам, имели возможность услышать слова, принадлежавшие, очевидно, Позичеву, да и то после того, как тени на занавесках исчезли и на деревянном крылечке сначала раздались шаги, а потом и скрипнула дверь.

— Вот и подумай, к какому из четырех сортов — по твоей теории — принадлежишь.

— Сорт-то сортом, да в каждом из них еще много моделей.

— В общем, до завтрашнего бюро, Николай Егорыч.

— До бюро, Михаил Николаич...

Заседание было назначено на четыре. До урочного часа Николайчик успел обскакать все бригады, побывать в соседнем колхозе, в райцентре, переговорить, переспорить, выпростаться словами перед добрым десятком людей насчет лимитов, подготовки к весне, запчастей, чтобы потом, на бюро, больше слушалось и молчалось. Полчетвертого он, натянутый, как струна, сидел

в кабинете, в самом углу, у окна. Подкатил знакомый, песочного цвета «газик», сельсоветовский «москвич». В коридоре долго топтались, говорили, ходили, потом вошли сразу все: председатель сельсовета, бригадир первой бригады, агроном, парторг и Петовский. Кто неловко оглядывался, подходил, здоровался за руку с Николайчиком, кто, кивнув ему, молча садился на место. Запахло хлебом, соляркой и пресноватым, свежим с морозца духом.

— Ну, что же, начнем, товарищи,— поднялся из-за стола Позичев.— В общем, дело у нас сегодня не из приятных. В центральную печать поступила жалоба на... в общем, на нашего председателя. Не дожидаясь этого, мы и сами должны были чуточку раньше обсудить поведение товарища. Он хоть и старший среди нас, тут присутствующих, а выходит... В общем, докладываю...

Пока Позичев излагал суть вопроса, Николайчик сидел и тоскливо думал о том, что зря не поехал нынче в госбанк к самому управляющему, а то эти тянут-потянут, не переведут вовремя денежки, а те, из «Сельхозтехники», мигом спровадят моторчик другому, и тогда Сережкин «газон» будет стоять опять до второго пришествия.

— Есть и такой факт. Вы, Николай Егорыч, ответьте товарищам,— прервал его мысли голос Позичева,— ну, говорил я вам по-дружески, чтобы вы не давали колхозникам деньги? Ну, там на фуфайки, на... разное. Жены за это, я уверяю, не будут вам благодарны. Говорил? И человеку ведь унижительно...

— А куда же мне деньги девать? — разомкнул, наконец, челюсти Николайчик.— Детей на ноги ставить не надо — Ванька давно сам зоотехником, хат я не строю — построена, пить я не пью и ем в одно горло, а денег вон сколько платят: и пенсия, и зарплата какая,

и премии — планы у колхоза известные, и пока, слава богу, справляемся. Вот я рубли и назад потихонечку, людям. Отдадут когда-нибудь — так отдадут, а нет — и не надо, пускай себе...

— Да ведь этак можно и приучить кой-кого... к манне небесной, на дарминку-то, — поднялся и, обведя всех тягучим взглядом, остановился на Петовском председателе сельсовета Отстойнов, про которого по дворам говорили, что он «среднего калибра» по всем статьям: и по годам, и как председатель. — Да, на дарминку. А у нас цель, разрешите сказать, какая? Какая, спрашивается, товарищ Позичев? А чтоб не только развивать производство, но и, известное дело, воспитывать человека. А то я как-то пришел к Николайчику попросить пяток людей — яйца собрать у населения, полугодовой план закрыть, а он мне: что потопаешь, то и полопаешь, а у меня, дескать, сейчас свекла. Это как понимать, дорогие товарищи? Говорим, говорим развивать в каждом человеке хозяина общего фактора, а на деле Житков и есть единственный, разрешите сказать, в колхозе хозяин. И потому переходит границу, становится, разрешите сказать, самодержцем, за усы почтенных людей начинает тягать...

— Не за усы, а за бороду, — во весь голос сказал бригадир Саврасов и даже привстал.

— Да, и за бороду, — смутившись, поправился Отстойнов и покосился на Петовского. — И давайте не уклоняться, товарищи, в сторону.

— А что это, разве в сторону? — поднялся Позичев и откашлялся, поправил новый, непривычный для шеи галстук. — Облик руководителя, каким ему быть... Да, не скрою, мы вчера откровенно потолковали с Николаем Егорычем. Кое-что у нас стало неладно в колхозе, и мы все виноваты. Да все. И не только Житков... В колхозе,

само собой, каждый должен трудиться, как на себя. Но попробуй это довести до сознания того же дяди Юхи-ма... А вот и пробуем! Сейчас в стране у нас, как известно, новый этап — экономическая реформа, и наш колхоз перешел на гарантированную оплату. Что мог дать человеку послевоенный колхоз? Чтобы было кормиться чем, дали тому же дяде Юхиму, всем понятно, приусадебные сотки. Тянем мы его сейчас от тех соток к большому колхозному полю. А он не хочет, упирается. Теперь дело такое: придан рубль нам, рубль сильнее пошел в работу. Но иной человек и за заработок хватается, и усадебное не оставляет. А поскольку усадебное — свое, прикипевшее, личное, то на общественной линии получается рвачество. Вот куда нам смотреть... Руководителю, может, легче, а может, труднее. Рублем вертеть надо умеючи... А вы, Николай Егорыч, сразу за бороду.

— Да чего уж там,— закричал Николайчик и отвел глаза в сторону.— Пусть он меня тоже оттаскает. Не облезу. Его отца Каменский розгами и то ничего, а тут...

— Как это ничего? — вставил наконец свое представление Петовский.— Да после этого произошла революция, Октябрьская революция!

Члены бюро закивали согласно: что за вопрос, верно, революция раскрепостила, революция подняла, распускать руки никому не след, даже и Николайчику...

За окном разыгрывалась метель, швыряла в окна горсти мокрого снега, и он налипал, наслаивался на стекла, в комнате стало серее.

— И потом, я смотрю,— продолжал Петовский,— философию развели, экономику пристегнули, а тут элементарное дело: человек, не побоюсь сказать, применил явно физическое воздействие. Вот вам она, та распу-

щенность, Николай Егорыч, то самое самоуправство со свинофермой. По совести — не уполномочен, но если бы спросили, я бы лично ответил: не место таким, не побоюсь сказать, в партии!

И сел. За окном качались березы. В открытую форточку слышался слабый скрип ветки о ветку. Николайчик сидел весь опавший, постарел сразу на добрый десяток лет. Лицо было по-прежнему бледным, уши начинали пунцоветь, наливались кровью.

— Да куда же я без партии? — оглядел всех растерянно Николайчик. — Вся моя жизнь туточки... А теперь что? Уходи, мол, не нужен, свое отработал?.. С председателей, может быть, и пора. Да, пора. А насчет партии, в партию я зачислен навечно. Кровью, под снарядами, пулями... голодали, мерли...

— Николайчик, не надо... — зашумели по комнате. — Ну, чего ты, успокойся...

— Да я — партии, как вот мизинец ладони! — захлебнулся воздухом Николайчик. — Каждый палец свой, жалкий, каждый кровью исхлещется. Нам нужна рука полнопалая, у нас дел еще... ох, — Николайчик схватился за грудь. Губы сделались синими. Близко сидящие бросились, загремели графином, подносили стакан.

Петовский смотрел равнодушно в окно, в заснеженные поля, думая о своем и слегка раздражаясь, будто его и не касалась вся эта суматоха, все эти волнения в прокуренном кабинете. Позичев краем глаза улавливал, что делалось с Николайчиком, другим краем — неотступно следил за Петовским. Наконец, когда Петовский потянулся к графину, Позичев шагнул вперед, провел сухим языком по губам.

— Товарищи! — обвел он взглядом собравшихся и повернулся к Петовскому. — Да ведь так же нельзя...

Говорите, не уполномочен, а почему такими словами швыряетесь? Свиноферму вспомнили, престиж свой вздумали восстанавливать. Только каким, извините, способом... Председатель — должность такая, все на него вроде можно сказать, а ведь он человек, наш товарищ... Вы еще не знаете Николайчика... Вы только сеялку вспомните... рубли солдатские... а вы так...

— Прекратить! Осознал! — заходило по комнате. — Осознал человек. Ограничиться.

Николайчик очнулся. Сидел, выперев жесткие скулы, ловил жадно открытым ртом воздух из форточки, за которой скреблись тонкие ветки березы.

— Николай Егорыч, — обращался Позичев, видно, к нему. Да, к нему. К кому же еще? — Вы не так, Николай Егорыч, нас поняли. Как же вы, Николай Егорыч, без партии, как же партия без вас? И колхозу нужны. Светлая голова и глядит вон куда... Николайчик затеял столько всего по колхозу, Николайчику и доводить свое дело до конца. Десятипольный севооборот, новые фермы, механизированные тока, зерносклады. Да кому же все это делать?

Николайчик отдышался, сидел, собираясь с силами, отвел в сторону чью-то руку со стаканом, крутнул голову досадливо:

— Вот чертяка, этот мотор. Клапана, клапана менять надо.

— Ну, вот и лады, — задвигались члены бюро. — Опять Николайчик в своей кондиции, посыпал, как из пулемета.

— Николайчик, — вскочил бригадир первой бригады Саврасов. — Чего ты надумал? Сердце там... А то некем будет перед другими колхозами и погордиться. Вон и бабка Кондратьевна анадьсь встретилась. С эта-

ким председателем, говорит, даже я, а не то что оборневские, перестроилась, завела дом себе под железо.

— Будет, будет тебе, Савельич,— махнул Николайчик на бригадира.— Как увижу в бригаде опять «балалайки»-огрехи, так тебе все равно на всех струнах сыграю.— И повернулся ко всем, подобрался, сказал так, что голос осекся, заглох: — Так вот, товарищи, спасибо вам на добром слове.

— А это ответ специально тебе, парторг,— продолжал Николайчик,— всю ночь думал. Наверно, я все же из первого сорта, Михаил Николаич. Да, так получается — не очень хорошей модели.

Проголосовали: для начала предупредить.

— Пришлите протокол. И прошу не задерживать,— поднялся резко Петовский.

— Хорошо,— обвел взглядом собравшихся Позичев.— Сам привезу, как раз собираюсь в райком. К первому, к самому Чубакову.

## 8

После бюро председатель с неделю пропадал по бригадам, проверял подготовку к весне. Наконец, житковский говорок с утра загремел в кабинете: «Да-да, Николайчик слушает, у аппарата, у аппарата...»

А вечера он стал проводить за книжками. Впервые Позичев увидел его в очках — в огромных, в черной широкой оправе; непривычно как-то. «Словно кот», — подумалось Позичеву. Так и сидели молчком за одним столом буквой «т», сидели и не шевелились.

— Обиделся, Николай Егорыч? — первым нарушил молчание Позичев и улыбнулся простецкой, грустноватой улыбкой, за которую, как ему было известно, он и привлек к себе Аннушку.

— Да что там,— ответил уклончиво Николайчик и посмотрел на него.— Вообще мужик ты толковый. Что же делать, коли дурь начинается у председателя? На то ты и парторг. Теперь я и сам за дурь свою взялся... Помнишь мой разговор у министра? Ну, насчет того, чтобы лучше видеть каждый гектар? Вскорости газеты взялись обсуждать земную бухгалтерию, этот самый... земельный кадастр. Вот и я все думаю. Верно, плодородные почвы — самая ценная ценность. Ну, подумай, сколько можно отгрохать фабрик, заводов, всяких товаров произвести, а вот землю... ее, брат, того... не построишь. Мне один друг рассказывал. Сделали, значит, ученые икру из синтетики, подпудрили, подкрасили, душком ее каким-то сдобрили. Поставили перед одним парубанок. Тот лизнул из одной, лизнул из другой. И давай ложкой, как выясилось, натуральную. А эту, говорит ученым, лопайте сами. Ха-ха-ха...

— Не скажу, не пробовал,— пожал плечами Позичев.— А вот где-то читал, производят корм из нефтепродуктов и откармливают кур.

— Вредные разговоры,— мрачно заметил Николайчик.— Значит, не урожай наращивай, а надейся на эти... нефтепродукты? К земле всегда так, с одним: вывози, матушка... Я вот думаю, сколько всяких паялилось и паялится на нас за границей, а все, брат, из-за земли. Тут рождаемся, живем, тут в нее и положат. С мужичками недавно беседовал по этому... по кадастру. Почему, говорят, бывало, под усадьбы и всякие там сады отводили самые кривые, никчемные земли? А сейчас подавай под фермы какие поглаже, получше... Да, забыл! Сегодня звонили из райсельхозуправления: у нас будет возводиться животноводческий комплекс. Не зря, значит, воевали тогда за крупный рогатый, а, Михаил? Я вот так рассуждаю: не забыл нас министр. Это и есть ответ

государства на мой вопрос: кто в деревне людей заметит? Кто же — механизация!! Завтра же едем выбирать место. Куй, сынок, железо, пока горячо.

Николайчика вызвали в бухгалтерию. Позичев сидел, подперев щеки руками. От скольких он слышал, что главные события — революция, войны — уже позади. Да, сейчас тоже вершатся дела. Подумать только: впервые сельского населения в стране стало меньше. Все говорят: хлеб давай; кабы не заслонить им все остальное. Как это рассуждал Николайчик? Скоро складывать буквы научат и обезьяну, а вот дать человеку высшее человеческое понятие... В чем, скажите, оно, такое понятие? Может, опять же в труде? Человек не хочет просто вкалывать, он хочет работать. Да ведь нелегко это — творчески. Иной желает жить просто: отбарабанил свое и — домой. Просто есть, просто жить...

Вернулся Николайчик, завертел книгу, забежал по кабинету, потирая руки и пританцовывая:

— Книга про тюльпаны. Вот она, программа! Все по порядку: как готовить клумбы, высаживать луковицы... Ну, Юхим!

— Может, переквалифицируешься... в цветоводы? — съехидничал Позичев, но Николайчик не обратил внимания.

— Я теперь сплю и вижу теплицу, — сказал он едва слышно.

— Чтобы было чем еще раз обратить внимание Долининой? — уколол его снова Позичев.

На сей раз Николайчик заметил колкость, посмотрел внимательно на собеседника.

— Тюльпаны долининцам? — сузил глаза Николайчик. — Нет уж, сами пусть заводят себе производство, а не завидуют нам, рублем вертеть с умом надо...

— Видишь наброски? — положил Позичев ладонь на бумагу.— План социального развития. Каким должен стать наш колхозник лет этак через десяток, другой? Какими путями повести его? Потом, на бюро, мы обсудим. А сейчас повторю то же, что и на последнем бюро: вертеть-то верти рублем, да не наверти.

— Это как понять тебя? — насторожился Николайчик.— Одной вожжей шлепать, а другую натягивать «тпру»?

— Нет,— как можно спокойнее ответил Позичев и усмехнулся: — Если говорить твоими словами, обеими шлепать и обе, когда надо, натягивать.

— Ишь, какую мы с тобой тут развели антимионию,— угнув голову в плечи, стоял на своем Николайчик.— А вот давай пойдем к людям, что они нам ответят? Хоть сейчас пойдем. На агрозоотехнический кружок. Наверно, еще занимаются... Давненько я собирался зайти, посидеть, да и кой-чему... научиться. Тяжело мне, откровенно сказать, бывает, сынок,— вздохнул Николайчик.— Не все и всегда понятно, а вот на кружок по агрономии или там зоотехнии стесняюсь. Председатель все же... Сам тут мозгой допираю. Ну, да ладно, пошли к людям, потом план свой досочиняешь...

Они вышли. Позичев достал «Беломор». Было тихо, безветрено, звездно. В снежных пластинках — остатке вчерашнего инея, осевшего на штакете,— пронзительно отражалась луна. Луна была полноликая, сочная, вся в видимых пятнах — вулканах, кратерах, и в самом деле такая близкая, что ничего удивительного, если по ней сейчас ползет вездеход, сотворенный рукой человека: ищет, замеряет, сообщает Земле.

— Когда-нибудь туда всем колхозом,— нарушил молчание Николайчик.— Я бы выбрал там море Дождей.

— Но ведь и там, в «море», пыль по колено,— прикурил папиросу Позичев.

— Ну, тогда делать там нечего, давай на Венеру, на Марс.

Где-то далеко-далеко за селом взбрехнула собака, стороной прохрустели двое — наверно, Славка Пиняев со своей Риммой-Рюмочкой. И опять тишина. Не укладывалось в голове, что сейчас где-то грохочет война, гибнут люди, и, может, именно в эту минуту пал на землю в солдатском мундире добряк-хлебороб...

Занятие в кружке подходило к концу. В красном уголке сидели бригадиры, механизаторы, шоферы, электрики, даже кладовщики. Разморенные жаром из печки, убаюканные голосом рассказчика, иные придремывали. Когда Житков скрипнул дверью, все разом оживились, прогнали дрему. Татьяна Федоровна уступила Житкову место свое у стола, Житков устался в угол. Татьяна Федоровна посторонилась, и Николайчик заметил в углу Юхима.

— А ты здесь зачем? — удивился Николайчик. — Ты же, Юхим, на пенсии.

Все загудели, задвигались, с интересом глядели на дядьку Юхима.

— Так что, Николайчик,— встал, переминаясь, Юхим.— Так что, я... к тебе, как на фронт. Я согласный.

— Испугался, что ли? Так нет же, я не злопамятный.

Лицо дядьки Юхима сморщилось, морщинки сбежали к глазам, глазки сделались маленькими, заслезались.

— Да ить разве ж я нехристь какой, а, Николайчик? Супротив людей? Тоже человек... Ты прости меня, любя-голуба, бес попутал. Ты вот душу на народ по-

кладаешь, а и правда, тоже на пенсии. Так что решился я,— губы у дядьки Юхима запрыгали, затряслась борода,— так что пришел вот, учите меня на тепличника. Я для людей, общества — все. Цветы, значит, будем...

— Да мы с тобой, дед, еще ничего,— обрадовался и широко, во всю душу улыбнулся ему Николайчик, подмигнул Позичеву.— Рано нас с тобой на помойку, а?.. Я тебе, Юхим, книжицу отыскал. Во, книженция, мировая! Как и что, про тюльпаны. Еще академиком станешь, нас узнавать перестанешь... Мы к вам с парторгом тут,— повернулся Житков ко всем.— Сами знаете, везде сейчас толкуют про землю. Составляется, понимаете, земельный кадастр. В общем так: что нужно, чтобы лучше вертеть каждым гектаром? Экология тут. Как говорится, самый серьезный вопрос сейчас у народов — солнце, воздух, вода. И еда. А еда — значит, земля. Супеси, черноземы, подзолы. И с этим каждый год все серьезнее, строже. Вот и пришел сюда к вам. Верно, Позичев? Как будем дальше-то с урожаями, неурожаями? Вон Семен Нецветаев...

— А-а,— махнул рукой бригадир Селищенской бригады Семен Нецветаев — высоченный, невозмутимый мужчина лет сорока.— Надоело уже отвечать: почему да почему урожай у нас выше, чем у соседей? Вроде лето было на всех одинаковое...

— Да чего там,— перебил его дядька Юхим.— Был бы дождик, был бы гром и не нужен агроном.

— Помолчал бы ты, дед,— остановил его Нецветаев.— С дождем и дурак в умниках... Все с весны знали, что лето будет сухое. Все вроде радио слушают. А весной грачевцы взяли, да и забороновали посевы. Ну, и потеряли влагу, недобрали яровые.

— Извиняюсь, а где же был агроном? — снова встрял дядька Юхим.

Все посмотрели на Татьяну Федоровну, она слегка покраснела, стояла под взглядами, думала.

— Конечно, мой недогляд. Это так,— сказала она, наконец, и вздохнула.— Но не сразу всю сбрую на шею. Давайте вместе решать. Кто в наши дни агроном — технолог или бригадир? Бригадир? Так когда ему думать о передовой агротехнике и еще следить за полями, как готовилась почва, как хранилось зерно, как убиралось? Пять лет тому аукнулось, нынче откликнулось. Агроном тебе и терапевт, если надо, и инженер земли, и...

— Ну, хорошо,— Позичев даже привстал от волнения.— Планы у агронома распрекраснейшие, технологию всякую можно насочинять, а кто ее в жизнь-то будет...

— Михаил Николаич! — вспыхнула Татьяна Федоровна.— Вы меня не так поняли. Не в перчатках лайковых хожу на работу. Вот они, поглядите,— она приподняла руки — темные, узловатые.— И людей расставляю на агрегаты, и за бригадира иной раз, даже за звеньевого, и с бабами на прорывку свеклы не постесняюсь.

— Верно, верно, Таньк, верно,— задвигался Николайчик на месте.

— Так разве ж в этом дело? — продолжала она.— Дело в принципе. Организаторскую работу пора перекладывать на плечи тех, кто по должности организатор,— на бригадиров. А то всякой сбруи вон сколько, а шея у агронома одна... В прошлый год мы оставили под пары пять процентов пашни — рассчитали, обмыслили, честь по чести, а в районе нам все перечеркнули.

— Зная, что лето будет засушливое,— приблизился к ней Позичев,— вы обязаны были не проводить боронование.

— Рекомендовала,— сухо ответила Новикова.

— Так почему же только в одной бригаде учли вашу рекомендацию? — взорвался парторг.

— Вот тут, товарищи,— остановил его председатель,— и подошли мы вместе к тому, зачем я сюда и пришел, чтоб потом вынести все на общее, понимаешь, собрание... Давай с этого: почему учли в пятой бригаде? Да в пятой бригаде у нас Семен Нецветаев — гвардеец, а не бригадир! Да кто ж ему там не подчинится? Все у него отлажено, любо-дорого, как по маслу идет... А у других, гляди, что получается. Агроном говорит своим полеводческим: не бороновать. Ну, сказала, мол, и сказала. Поспело время, трактористы поехали в поле: больше утюжишь — больше заработаешь. У них начальство свое, они полеводческих не понимают. Ясно, Михаил Николаич?.. Вот и пришел я к такой мысли, товарищи: аннулировать бригады и создать производственные участки, иметь там одного начальника, у него все: и фермы, и люди, и техника. Вводи хозрасчет, морюк, что и как, все в твоих руках. Что потопает, то и полопает. Сам вон к Таньке побежишь за советом...

— Ловко,— зашумели в углу.— А сколько же будет этих самых... участков?

— Не бойтесь,— успокоил их Николайчик,— не страдаете. Вот разрубим этот... как его?.. узел. Какой, Михаил Николаич?

— Гордиев.

— Верно, гордиев узел,— кивнул Николайчик и повернулся лицом к Новиковой.— И среднее звено укрепим, и тебя, Тань, переквалифицируем, станешь ты у нас уже не агрономкой, а этим... инженером, как навроде Максим Данилыч. Инженером земли, технологом.

— Завлекательно. А кто ж у нас тады агрономкой будет, а, Николайчик? — поставив торчком бородавку, полюбопытствовал дядька Юхим.

— Освободим, Юхим, согласно твоему заявлению, — сделав строгое лицо, сказал Николайчик и расхохотался. — Сам же говорил, был бы дождик, был бы гром. Вот гром уже был, а теперь еще будет и дождик...

— Нет, — покачал головой дядька Юхим. — Нам без агрономки нельзя, куда земле без научности? Танька у нас баба дельная, куда нам без Таньки?

— Ладно, сиди, — сказал Николайчик и, собрав брови, сделался вдруг снова серьезным, заботливым. — Так оно как, мужики... Мы с министром в Москве толковали: при нынешней технике в каждом гектаре земли сила, можно сказать, невозможная. А ничего невозможного, все нам возможно. Брали после войны по семь центнерочков с га, а прошлый год — по двадцать пять. И надо наращивать... Вот и выносим — верно, парт-орг? — на общее собрание вопрос о производственных участках. Пора, значит...

Дня три после этого Николайчик лазал по буеракам, посадкам, всяким бросовым землям в поисках места для животноводческого комплекса, к которому — подталкивали в районе — должны были приступить уже нынешним летом. На четвертый день потащил с собой Позичева и приехавшего из Нарошкино землеустроителя.

— Знаю я вашего брата, проектировщика, — ворчал Николайчик, — оттяпаеть лучшие земли. А тут и чтоб земли были неважные, и чтоб возле дороги, и чтоб водопой близко. Вас ублажить и себя не обидеть.

«Волгу» оставили на дороге, и Николайчик потащил весь свой «табор» — Позичева, Максима Глыбакова, зоотехника Пронькина — прямо по снежной замети, по торчащей из-под наста стерне к залесенным холмам, прилегающим к Цону. Следом брел землеустроитель. Место было удачное: все условия соблюдены и дел

немного: ивняк вырубить, холмики сдвинуть бульдозером, разровнять все — и площадка готова: стройте.

— Для земледелия — место левое: неудобно, пески, — хлопнул оземь каблуком Николайчик. — Вот здесь вобьем первый кол.

И вдруг блеснул чесночными зубами, потрянул головой, так что отлетела в сторону шапка, прошел упругим шагом по кругу. Снег взметнулся из-под сапог. Позичев не ожидал такого: председатель все-таки, да еще при чужом человеке. Но человек этот уже хлопал в ладони, подрагивал плечами, ногами, и снег все рьяней, рьяней брызгал из-под ног Николайчика.

## 9

Николайчик уехал с землеустроителем еще утром, дважды звонил из райцентра, что задерживается, но так до вечера и не показался. Позичев просидел в кабинете один, отвечая на многочисленные звонки. Что ни говори, а он уже начинал привыкать к Селищу, к своей должности. Привыкала к сельскому житью-бытью и его жена Аннушка, наконец-то переехавшая сюда к нему. Исправно топила печь в отведенной им половине стандартного дома, а после бежала на работу, в библиотеку. Пока не роптала.

Позичев вышел на улицу, как всегда просидев допоздна. Парок вился у рта, скрипел свежий снежок. Оглянулся. В правлении давно никого — все окна темным темны, и только в березах, в кочегарке, теплился огонек, в красноватом оконце мелькали размытые тени. Позичев решительно двинулся по тропинке. В прихожей было хоть глаз коли. За дверью раздался взрыв смеха, и он услышал свою фамилию. Остановился, стал слушать. Попятился, да так и присел на бочку. С солидным, что ли, она или со смолой?

— ...там идет совещание по конопле, там пеньку так и этак треплют,— продолжал сиповатый голос.— А Николайчик сидит себе, носом клюет. Всегда так-то на заседаловках: а ну, с зарей встань да день-деньской помойся. Вот ему директор пенькотреста на весь зал и замечаньице: «Чего это вы, товарищ Житков, дремлете?» А тот ему: «С вами задремлешь, враз вокруг пальца обмотаете... Считаю вот, на сколько вы наш колхоз обманули. Кажись, тыщи на три».— «Ну-ну,— говорит директор,— что вы так?» А Николайчик уже считает, один палец загнул, второй, третий. Весь кулак. Зал от смеха ходуном: спит, мол, вроде, а все знает...

— Это так,— продолжал тот же голос после некоторого молчанья.— Как пойдет Николайчик, так куда тебе, тремя жеребцами не удержишь. Что в пляс вдарится, что еще на какую отчаянность. А этот... ну, парторг новый... смирный, обхождения робкого: «разрешите, извините». Далеко до Сидора Иваныча — как тот гаркнет, бывало. Правда, не при Николайчике. При Николайчике даже голову втягивал, слово знал, что ли, тот на него? А этого, новенького, тоже к себе в кабинет: чтобы виднее друг дружке...

Дальше слушать было уже неудобно. «Ладно уж,— махнул Позичев,— небось не съедят». И толкнул дощатую дверь.

В ноздри ударило резким нашатырным духом горящего угля. У открытой топки сидел на корточках человек, шуровал кочергой. При каждом рывке в печи пыhalo с новой силой, красноватые сполохи ложились на подсвеченные стены, грубо сколоченный стол, на лица собравшихся. А было здесь человек пять-шесть, и все в годах. Среди них — Астахов, сосед Позичева Евлампьевич и еще кое-кто. Тот, который топил, обернулся на стук, и Позичев узнал в нем дядьку Юхима.

— Так это ты теперь истопником? — присел Позичев на сосновый чурбан и сладко вытянул ноги.

— Я, товарищ начальник,— усмехнулся тот,— а то кто же?.. Штатный в больничке, а меня Николайчик сюда. Это, говорит, тебе репетиция. Для теплички той... Вторую неделю топлю.

— А это что же, помощники?

— Скажешь тоже,— хихикнул дядька Юхим.— Не помощники, так, не мешают... Тут у нас — как бы это сказать? В телевизор видал, как молодежи на сцену понагоняют и они там лясы точат, друг про дружку и про всякий текущий момент? Так вот у нас вроде того... КДН, во!

— А что ж это КДН?

— КДН-то? — подмигнул дядька Юхим сидящему в самом углу молчавшему Володьке Свиридову, которого как называли когда-то Володькой, так и звали по сей день, хотя в прошлом месяце ему стукнуло уже пятьдесят.— Это, вот Володька скажет, как в колхозе колхоз, «клуб друзей Николайчика». Годки его. Мы тут сидим, ему косточки моем, всем достается.

— За глаза строчите?

— Ждем, обещался,— вздохнул дядька Юхим.— Теперь это в моде: день рождения. Мы сегодня за его здоровье бутылочку припасли тут. Сейчас головку ей отвертим.

В тамбуре что-то загрохотало, затопало — в двери ввалилась необъятная фигура в тулупе — сам Николайчик.

— Легок на помине,— вскочил с чурки дядька Юхим.

— Сиди,— подтолкнул его Николайчик и стал бухать на стол бутылки с шампанским и с водкой, вытряхивать из карманов бумажные свертки.

— А, и Позичев здесь,— покосился он.— Ничего, ничего, и ему миллиграммку. За Николайчика можно, праздник сегодня у Николайчика.

Нашматовали колбасы, хлеба, сала и огурцов. Нашлись в тайничке и стакашки. Крякнули — со здоровьем, значит, с новорождением. Разговор пошел веселей.

Общество мягко поругивало дядьку Юхима, обзывая его то тепличником, то летучим голландцем, у которого посеред зимы снегу не выпросишь, а не то, что, к примеру, голландский тюльпан, который дядька Юхим непременно выведет на селищенской почве...

«Ну, завелись мужики, завертели этот, как у них... КДН»,— улыбнулся Позичев, и ему стало совсем хорошо — от тепла в груди и в ногах, от того, что кругом были свои, простецкие лица, даже шутки — и те не обидные, свойские, и все утопало, растворялось, блекло перед березовой плахой, на которой сидел он, перед скрипучей березовой веткой за оконцем, а дальше там — перед полями, ждущими сейчас весны и посевного зерна, перед пахнущим солидолом Володькой напротив, перед дядькой Юхимом, теперь только и думающим что о голландских тюльпанах, о том, как угодить Николайчику. Все в мире было таким же, как в его позичевской, родной и далекой деревне, у кромки брянских лесов.

— Это зачем же такое сотворили? — вывел Позичева из воспоминаний голос Астахова.— Мать честная! Показатели из кубового железа. Гробанули железо, а оно б на кормушки, на крыши.

— На пропаганду чего там жалеть,— повернулся Позичев к дядьке Юхиму.

— Ладно уж, Михаил,— тронул его за плечо Николайчик.— Пускай мужики говорят.

— Я был на западе,— встрял в разговор мрачный Володька.— В плену, ранетый был, увезенный, там это

да... сам видел... экономисты... У немцев ничего, брат, не пропадет. Огрызок яблочный, бывало, не бросит, в карман положит. Огрызок потом в общую кучу и на вино... яблочное... А то еще, помню, сдохла курица, гляжу, старики посошлись и толкуют по-своему, куда и на что пустить ее. А я навроде не понимаю, подхожу, за крыло да навроде выбрасывать. Ну, они на меня гыгыр-гыр: нельзя, мол. Всю курицу раскассировали: перо на подушки, кости на удобрения, к мясу каустика добавили, мыла сварили...

— Да уж сиди, сиди...— Дядька Юхим прикрыл чуркой дверцу — в кочегарке сразу потемнело, из углов поползла темь, четче обрезались тени на стенках.

— А я про то, что у нас в стране всего много,— стоял на своем Свиридов.— Вот и можно, значит, добро на пшик? Так, выходит?.. А немцы — народ расчетливый, дельный, не грех у них и поучиться.

— Да кому, кому ты рассказываешь? — захохотал, заполонил Николайчик громом голоса кочегарку.— Да ты сам, что иной немец. Расскажи, расскажи, Юхим, про его тетрадку. Всю жизнь свою на карандаш. Дебит-кредит. Что хорошо, то в приход у него, а что плохо — в расход. Я уж не спрашиваю, как живешь, мол, а говорю: что у тебя, Володь, на этой неделе — приход над расходом ай расход над приходом? Ха-ха-ха...

— Буде тебе реготать! — поднялся задетый за живое мрачный Володька.— Ты бы так все в колхозе считал, а то вот ферму списали? Списали. В том году три подсвинка сдохли, куда их сховали? А тоже списали на громоотвод. На бюро тебе чёсу давали? Давали. За что?

— А вот за кого,— кивнул Николайчик на дядьку Юхима и посерьезнел, осекся.— За него. За его промокашки. Тоже писарь нашелся.

— Ты, Николайчик, молчи,— остановил Житкова Астахов.— Слушай, да и вникай. Кто же тебе еще так-то вот, как не друзья-товарищи...

— А чего ж он,— уже остывал Николайчик.

— В гостях я у тебя или где? — вскочил дядька Юхим и заюлил, подмигнул всем, засмеялся.— И хочу, брат, того... шанпанского. За твое, Николайчик, нескончание века, а я уже, брат, того,— и показал свой пустой рот, разбухшие десны.

Николайчик сидел смиренно, держался за грудь. Потом сморщился, сказал горестно, так душевно пронзительно, что все развернулись к нему и молчали.

— Дак в гостях это мы тут у тебя в кочегарке... Эх, Юхим, и не говори. И про нас литовка где-то наточена.

— Сердце у тебя еще ничего, послужит, в журбу впадать нечего,— сказал, смягчая тон, мрачный Володька.

Михаил смотрел в огонь, в самое пекло. Все сияло жаром, так было накалено, что, казалось, на лицо давит что-то тугое и плотное, вроде воды, и бьет, отталкивает, заставляет прикрыться рукой. «Световое давление»,— вспомнилось первое попавшееся. Еще с детства он любил смотреть на огонь, вглядываться в его рыжее пекло, в котором что-то и зовет, и отталкивает. В сплошном воссиянии различались и темные места: потресканные острова, горные хребты, воронки кратеров, из которых там и сям выходили ядовитые газы, перебегали протуберанцы. И он чувствовал себя на иной планете, неземным существом, способным жить в таком полуме. Позичев взял березовую плашку и сунул в огонь, разрушил горы. Береста оторвалась от дерева, задвигалась, закуржавилась, стала свертываться в трубочку, на срезе плашки закипела вода.

— Кубовым железом докрыть крышу бабке Матре-

не,— слышал он голос — отдаленный, словно не здешний.

— А почему бабке? — вопрошали другие.

— Внук у бабки, кормилец, в армии,— отвечал им все тот же голос.— И кто поможет ей, как не колхоз?

Позичев, наконец, оторвал глаза от огня. После жары лицо холодило, легонько покалывало. Володька и остальные сидели, переговаривались, упершись локтями в стол, вяло слушали дядьку Юхима.

— Ты, конечно, работу тянешь,— обращался он к Николайчику.— Тянешь, ажник постромки рвешь.

— Это точно,— заявлял, веселея, Володька.

— А зачем постромки-то? — не отступал дядька Юхим.— Нужно, чтоб и телега сама подавалась, в нее мотор, что ли.

— А ты что, Юхим, не понимаешь, рубль сейчас в ту телегу вставляют,— отвечал Николайчик.— Вот тебе и мотор. Крутнул — и пошло, поперло. Знай, копыта переставляй.

— Деньги, они сейчас, значит, у народа имеются,— соглашался дядька Юхим, и другие прекращали свои тары-бары, напряженно вникали в их разговор.— И тра-тят теперь, жалеть меньше стали. А раньше как деревенская баба деньгу ховала, когда в город ехала? За пазуху, чуть ли не привяжет за титьку, а сейчас ткнет в карман — тяни, значит...

Позичев усилием воли старался прогнать еще витавшие перед ним языки бегущего пламени, пытался сосредоточиться на разговоре, а для того вникнуть в него, сделаться его соучастником. Постепенно ухватывал тонкую нить, на которую нанизывались слова, а слова те, как крыша, прикрывали самое главное: то жилое, нагретое, трудовое, мозольное, хлебное, что называется жизнью.

— Постромки летят,— осмелел в углу бригадир третьей бригады Просторнов.— Тут не только постромки — моторы летят к чертовой бабушке. Николайчик ездит в бригаду к нам, знает. Закрайкин бугор — не бугор, а трясина, в метр колдобины, глина. Перваки бегут в школу — увязнут, ногу вытащат, а сапог там, и — в класс босиком. Надоело с лопатой дежурить.

— Знаю, знаю, о чем ты, Ермилыч,— подхватил Николайчик.— Будем ставить вопрос о карьере. В Суховеевой балке. Самим разрабатывать, и соседи помогут. И бугор Закрайкин засыпем, и к шоссе дорогу щебенкой устелим... Слово — олово, твердо, Ермилыч. И район поможет. Только где б это взять толкового инженера? Один тут просится временно, с пятого курса, на практику.

— Не-е, со скамейки-то? Этого нам не интересно.

— Ладно, ладно,— повернулся Николайчик к дядьке Юхиму.— Мы тут с Позичевым еще посоветуемся.

— Угу,— буркнул Позичев,— все на правлении обсудим.

— Как, Юхим,— засмеялся Николайчик,— твой прогноз показывает? Лето хорошее ай опять, как тот год, земля черепушкой?

— Дак тут оно как,— замялся дядька Юхим.— Дак оно, по приметам, сырое. После крещенья на пятый, седьмой день отпустило, текло. Влагу, значит, на май — июнь показало. Дожди, должны...

— Ладно, домой, домой,— искрясь глазами, поднялся из-за стола Николайчик.— А то жена дома — временное правительство. С этим временным сейчас будет так и смяк, наскосяк. А и верно: ждала целый день. Ну, а я то туда, то сюда, то в районе — госбанк, райплан, «Сельхозтехника», то вот с вами... Ну, бегу, бегу, кто со мной? В одни двери, не хлопать, не наступивать.

Расходились все вместе. Всем в один край. Темь ночная, а завтра с утра колгота. Делишек подбавилось, это тебе не январь, а исход зимы, скоро маслена, встреча зимы с летом, когда цыган, говорят, продает овчину и покупает телегу. «Да, насчет труб для теплицы не забыть,— вспомнилось Николайчику.— Звякнуть Ключеву в «Сельхозтехнику»...

— Эх ма, эх ма, жисть — сплошная кутерьма,— слышалось впереди.

«А нехай,— вяло махнул Житков.— Всяк знает, с Николайчиком не разгуляешься, Николайчик ментом поставит на место, у Николайчика оно... Деревья вроде гуще стали, и дорога окривела, пошла вкось куда-то, под горку. И заборов, черти, где зря поставили, посередке проезжего тракта. Снести, открыть путь народу, чтобы без всяких-яких ходилось. Ага, понятно, это я к больнице попал,— остановился озадаченный Николайчик.— Фонарей ни единого. Тут не только в больницу, тут, гляди, на тот свет прямым ходом. Пару лампочек не могут вкрутить, не могут... позаботиться... распорядиться!» — все больше и больше злился, накачивая себя, Николайчик, потом что-то сработало в его голове, и он прикусил язык: на кого обижаться-то?

— Завтра же сказать кладовщику,— приказал он сам себе вслух.— Чтобы выдал монтеру лампочки. Завтра же...

Вот, наконец, и привычный овражек. И мост. И его, житковская хата. Тут испокон калитка была. Вот дела, да куда ж она делась?

— Ты чего ломишься? — слышалось где-то сбоку. Она, его Нюшка, Анна Ивановна, дорогая, медовая.

— Фонарей понаставить надо,— сказал он, усмиряя волнение.

— Да уж пора бы,— буркнула она сердито и вошла во двор.— А я жду, жду, все жданки прождала.

— День, понимаешь, Нюша, такой. А тут годки. Отметим. Честь по чести. И Астахов, друг мой, с которым по эшелонам от бомб спасались, пришел. И свояк Спиридон Тимофеич. И даже Юхим... А их все меньше. И задумаешься.

— Запел Лазаря. Да тебе слома нет. Глянь, весь, как арбуз, налитой.

Долго еще смотрелось во тьму у Житковых оконце. Так мирно-семейно, уже за полночь заканчивался этот суматошный день Николайчика.

## 10

Стоишь на откосе, а внизу — жутко где — начинает шевелиться река. И потрескивает, предупреждает: ждите. И ждут люди, цепью стоят на бугре — не прозевать, ухватить глазом, потому главная вода в здешних реках идет одну ночь и день. Такая луна, видно, как днем. Река надухает, надухает, трогается, отрываясь от берега, трещат кусты, тянутся вслед за льдинами.

Аннушка... Не успел он обрадоваться ее приезду, как она снова уехала в город, на прежнее место. На днях прислала письмо, а сегодня — два сразу. Просит прощения, мучается. Все он, наверно, чернявый...

Позичев движется берегом. Шум и гам кругом, словно праздник. Здесь же видит Астахова, Володьку Свиридова. Позичев приостанавливается, слушает.

— Сухую солому иль сено там... мыши, ясное дело, не трогают,— жалуется Астахов дружку.— А тут крыша на сарае протекла, так мыши солому мокрую в резку.

— Сходи к Николайчику, выпишет,— советует Володька.

— Как же, колхозные коровки на голодном пайке.

И думки Михаила об Аннушке постепенно вытесняются заботами о ферме, о дойном стаде, о плане. Трудная нынче весна, подбились корма. Хлопчи, хлопчи... Он вглядывается в лунно-пепельные дали за речкой. В полях уже пусто, бесснежно, но дорога еще на снегу. Позичев закрывает глаза, напрягается и явственно видит желтые пятна — остатки скирдов, а между ними зимники, натрушена длинно солома. Все вьются и вьются желтые зимники возле скирдов, как косы у Аннушки, уходят, запутываются в темной леваде... Тяжко. Уехать, куда глаза глядят. На стройки Сибири. И там нужны люди.

Позичев шагает селом, мимо крепеньких, низеньких хат, яснооконных, ладных домов. За кленами опять же вот она, речка. С бугра, с огородов снесло в низы чернозем, протащило, расстелило в травах жирными полосами — славно летом будет муравьям. Позичев прислоняется к клену и бездумно, протяжно смотрит за речную излуку. Других учит, а сам не знает, что там, за этой проклятой излукой, с Аннушкой. В письме какие-то полунамекы, намекы, тревога. Нет, Аннушка, Аннушка: сухую солому даже мыши не трогают, а сдобри чем — в резку. Сойдет все, как полые воды, на берегу останется крошево, а в крошеве долго еще будут таять льдины — серые, ноздреватые, желтые от лучей, и с них будет капать капель, жечь душу.

— Люди-и-и! — бежит кто-то по берегу.— Вода в обход плотины, беда-а!

«Кто это? Голос вроде знакомый,— очнулся, наконец, Позичев.— Ой, да что ж это я? Ведь беда!»

Он спешит в правление. Здесь уже топчутся люди,

тут же и Николайчик, Катерина Долинина. «Так вот чей это голос»,— вздрогнув, как-то слабеет вдруг Позичев и вслушивается, вникает в то, как она объясняет собравшимся.

— А я еду,— говорит, волнуясь, Долинина,— гляжу: под плотинной гудит... туда скорее... там рвет все, все рвет... и мост задрожал, зашатался...

Заторопились к плотине. Деревянный мост был с того края плотины, а тут, почти у самого берега, вода шла уже верхом, в обход. При луне хорошо видать было, как разворачивалась стихия. Вода, переблескивая, надвигалась на сушу, а сзади поддавало еще, и она, перевалив через гребень, бросалась вниз, кромсала землю, выделяла островки и шла дальше. Вот она наткнулась на куст, наверно, шиповник — и начала терзать, трепать, подмывать его. Показался один корень. Позичев весь напрягся, увидел, какой он чистый, вымытый, розовый. Потом обнажился второй, вскоре весь куст замотался в потоке на нитке.

— Поберегись! — крикнул кто-то с откоса.

Все, кто был тут, внизу, оглянулись, увидели, как, пенясь и ехидно шипя, вода обходит их, отрезает от берега. Едва успели перескочить через образовавшуюся протоку. На плотине остался сиротеть «козлик» Долининой. Подвозили и сбрасывали в протоку навоз, но его тут же схватывало и уносило, а протока росла, уже подбиралась к мосту. Наконец, мост вздрогнул, один край его оторвало от берега, и весь мост развернуло, потом трянуло, еще раз трянуло, и мост осел, рассыпался на бревна и доски, бревна и доски заныряли в кипящей воде.

— Ну вот,— как-то сникла Долинина.— Теперь я... и безлошадная.

— Ничего, Кать, ничего,— сбил ладонью на лбу по-

темневшие от пота волосы Николайчик. Беда словно подстегнула его, он был оживлен и подвижен.— Что-нибудь придумаем, Кать, сообразим.

Целый день шла большая вода, долининская машина торчала на плотине, как бельмо в глазу. А вода не спадала, держалась упорно, наверно, где-то ниже подперло. Да и снегу намело — оврагам по макушку. В иные весны мужики шутят: разве ж это вода, коли мельница живую осталась, а тут не до шуток.

Вода не спадала, стояла. Люди приближались к сваям, торчащим на месте моста, подъезжали на конях, тракторах, вездеходах из Семеновки, из дальних колхозов, разворачивались и — восояси. И у селищенцев вот уже третьи сутки кисло молоко в баках.

— Ладить мост будем,— принял решение Николайчик. «Ладить, ладья, лада»,— поиграл словом Позичев и подумал опять о Долининой.

Михаил мотался с лесосклада на пилораму, с пилорамы на селищенскую ферму. Уговаривал, доказывал, порою кричал. По его команде работа разворачивалась широко. Звенели пилы, хлопали топоры — стройматериалы исправно текли на берег. Позичев сорвал голос, лицо обветрело, сделалось некрасивым.

Николайчик ладил с народом мост, связь одних с другими, со всем миром, со всей планетой. Звонили из «Райсельхозтехники» — пришли запчасти к автомашинам. Школьники полошли к тому берегу и вошли обратно, молоко отправили на свиноферму. Николайчик, поручив дела парторгу, сам торчал на реке, тут же тесал бревна, половинил их на плахи. Его прогоняли годки — Астахов, дядька Юхим и другие, кто помоложе.

— А ну, мужики, ну, комсомольцы! — шумел-шутил Николайчик над мостовой бригадой.— А ну, поспорее... Куда нам, мужики, без моста?

И обещал уже без зазрения каждому «по сто грамм на нос», если к вечеру лодки и снасть на мост будут готовы.

Летела в воду щепа — свежая, снеговито-смолистая, выныривала пониже плотины, уплывала до самого Каспия. Вот так же когда-то строили прашуры свои ладьи: валили у берега сосны, подживляли и катили их в воду. Спускались в низовье в боевых и торговых стругах вслед за сосновой щепой...

Позичев взялся за тесанье, тут же сбил в кровь ладони, но топор не выпустил, хэкал и хэкал по кругляку, стараясь не отстать от Астахова.

А Николайчик уже спускал ладью — первую из колхозного флота. Потом еще одну. Всей бригадой переправились на тот берег, натянули канат и, держась его, чтоб не сносило, начали заводить бабу, заколачивать бабой сваи. Валкие лодки черпали воду бортами, вскоре под ногами уж хлюпало, ноги сырели, а тело двигалось медленно. К вечеру не загнали в бут и половины свай. Оглохшие, с тихим звоном в ушах, мужики сходили на берег.

На завтра, как и договорились, явились с утра пораньше. Переминались, поеживались от холода, а мимо, в мутной спешащей воде, плыли в низовья, закручиваясь в бурунах, ветки, целые кустарники, даже деревца, гусиные перья, ивовые плетушки, часть дороги на льдине с важно расхаживающими грачами. Спустили лодки, и работа продолжилась. К обеду на сваи начали настилать доски, и веселый от дощатой свежести настил пошел надвигаться на тот край плотины, где по-прежнему сиротствовал у ракиты долининский «козлик». Редкое уханье бабы сменилось дробным стуком молотков и топоров. Гвозди туго и гулко входили в белое тело досок. Николайчик пробовал рукой на крепость перила —

они держались что надо, подпрыгнул на настиле — доски и не шатнулись, и тихая, беспричинная радость, пришедшая к нему еще с вечера, укрепляясь, росла в нем с каждой настеленной доской, подвигавшей их к одинокой раките; движения становились увереннее, голос, осипший на холоде, громче, топоры колотили дружнее.

Он уж всерьез подумывал, что часа через два-три берега, наконец, воссоединятся и мужички разойдутся по домам гонять с устатку чай, когда нагрянул водяной вал — должно быть, где-то в верховьях смыло плотину и большой пруд разом выдохнул воду; они едва успели попрыгать в лодки, как вал этот ударил в настил, покривил несколько свай, оторвал доски и затопил все, покрыл белым мелким кипением. Лодки, поднявшись, завертелись на привязи, их тянуло на дно, пока Володька не догадался обрубить веревки.

— Вот черт... Веревкин,— восхищенно взглянул на него Николайчик и сделал строгие глаза, подмигнул остальным:— Ну, с бухгалтерией ему теперь не расквитаться.

— Да что я? — оторопел Володька.

— Да то ты,— опять подмигнул Николайчик ребятам, и те заметно оживились, повеселели, уже улыбались на Николайчиковы слова.— Да то,— повторил он и засмеялся,— сто грамм, брат, не выпьешь, а новые веревки купишь колхозу, а эти обрубки себе хоть на шею.

— Ему от Клавки тогда по первое число,— пошутил кто-то в соседней лодке.

— Эй ты, не вывались! — осадил его Николайчик, заступившись за Володьку.— Ну, как вывалишься? Штаны на обсушку, а сам домой без портока.

— Га-га-га,— грохнули ребята, хохотнул и мрачный Володька, так что качнулись обе лодки и зачерпнули воду бортами.

— Гляди у меня, догочетесь,— пригрозил хохотунам Николайчик и приказал подгрести к остаткам настила.

Вода стояла в той же поре, над досками за полметра. Никто не решался лезть в белую кипень; покряхтев, Николайчик перекинул ногу через борт, нащупал сапогом первую доску.

Стелили доски ощупью, прямо в воде. Они просматривались сквозь вертящуюся муть и веселили душу. Медленно, но упорно люди двигались к тому краю, на долининский «козлик». Летели брызги: одежду хоть выжимай. Только не стоять, разгибать спины нельзя, враз схватит ветром, ишь свистит по реке, тогда посинеет кожа, набрякнут руки — владать не будут.

На берегу с толстым бумажным чувалом из-под удобрений показалась Николайчикова жена — Анна Ивановна. Проколыхалась к началу моста, к настилу, уходящему в серую муть. Зеваки расступились, пропустили ее вперед.

— Эй, Николайчик! — закричала она. — Коля-я!.. Одежду тебе принесла. — И начала доставать из чувала бязевую рубаху, галифе, свитер в оленях, исподники.

Все с интересом следили за ее руками: что же они еще извлекут из этих бездонных недр? Раздались смешки, люди начали переталкиваться. Николайчик с нескрываемой иронией наблюдал за действиями супруги, но когда она потянула из чувала исподники, терпение его, наконец, лопнуло.

— Ты бы шубу еще принесла! — ругнулся он.

— Чево-о? — прислонила ладонь к уху Анна Ивановна. — Чево он? — повернулась она к Славке Пиняеву.

— Шубу, ругается, не принесла,— сказал ей Славка и подмигнул своей Риммочке.

— Шубу-то? — сложив ковшиком ладони у рта, крикнула она и пошла от берега, заговорила с собой:— Шубу-то не принесла. Простудится ишшо Николайчик... Я сейчас, сейчас, Колюша,— заколыхалась она на бугор.

— Чего она там? — шумел с реки Николайчик.

— А за шубой побежала,— смеялся Славка.— В магазин, за стеклянной.

— Молодец! — крикнул ей вслед Николайчик и ухватился — как раз надо было — за доску.

— Чевой-то он? — остановилась Анна Ивановна.

— Молодец, говорит, бабка у меня. В магазин побежала, догадливая,— перевел ей Славка Пиняев.

— А-а,— протянула Анна Ивановна, и тонкие-тонкие сетки сгустились у глаз от мягкой улыбки.

Николайчик ступил на берег. Прикрыв его спинами, мужики сочинили ему, как шутили, «раздевалку» от ветра, и он растирался свежей рубахой с побряхтыванием, до красноты тела, припрыгивая на подстеленной кем-то газетке, совал ноги в сухие исподники, как в броню, одевался в бязевую рубаху, в свитер с несущимися в горы оленями. И вставал опять молодцом при народе, плотный, кубаристый. Вскоре несколько баб метнулись домой, понаташили одежды, и мужики из «мостовой команды» по настилу тоже двинулись к берегу, снимали мокрое и надевали сухое, и жены, и дочери тут же уносили мокрое домой на просушку, и оттого кое-где над крышами задымили дымы, и дым, пресноватый, соломенный, потянулся в низы, по реке, потащился за мост общим движением, полыми водами.

— Шабаш, братцы, перекур,— разогнулся Житков и вышел первым на берег.

Сидели на досках и тихо-мирно курили. Курили взятяг, не взятяг, кто как умеет, но так же всерьез, основательно, жадно, как и сегодня работали. Вот он, мост, перед ними — почти что готов. Еще пару метров — и сойдутся берега, наладится связь со всем светом, со всею планетой: и школьники завтра пройдут в школу, и молоко отвезут на завод, не прокиснет, и вызволится из плена «козлик» Катерины Долининой... Всего только мост через одну, даже небольшую реку!

Подошел Максим Глыбаков. «Мужик основательный, крепкий,— залюбовался им Николайчик.— Что в теле, что в мыслях. За чужим не потянется, но и своего не отдаст. Пока мы тут возились с мостом, он крюками-обходами пробирался в райцентр, в «Сельхозтехнику». Интересно, как там у него? Запчасти к «Зилам» не шутка, зевнешь — растекутся по другим хозяйствам».

— Ну и как? — обернулся Николайчик.

— Нормально,— затянулся Максим и пустил дым в большие, широкие ноздри. И ни словом о том, что пришлось пешком да пешком все эти крюки-обходы, все пятьдесят верст где распутицей, где болотом, чуть ли не на животе.— А вы тут не дремали,— кивнул он на мост и поднял голову: ввыси летел самолет. Лицо Максима вытянулось, глаза завлажнелись.

«Красавец, однако... У этого, брат, не вырвется,— смотрел Николайчик ему прямо в глаза, словно видел его впервые, и наливался весь тихой радостью за мост, за эти растреклятые запчасти, из-за которых стоят на приколе уже три машины, вообще за то, что вместе с ним служит такой бравый солдат... Максим Глыбаков.— А ведь баба небось не одна сохла по нем: глаза, как тарелки, глубокие, аж сизые, чуприна — вымоченная пенька, на подбородке — ямка... В его руки передавать не жалко колхоз, у такого будет все в норме...»

Так впервые с приглядкой взглянул Житков на своего заместителя. Когда прислали в хозяйство Максима, офицера в отставке, бывшего военного летчика, так и замлелось в обиде Николайчиково сердчишко: «Значит, того-сего, отслужился я, ишь какая подушка под меня постилается, авиация дальнего действия! И какой вообще землепроходец из небесного быстроголета? И чего его потянуло к земле? Жил бы себе человек в каком-либо городе, в хорошей квартире, сидел бы на должности поспокойнее где-нибудь, при заводе — начальником в кадрах или в ОТК, так нет же, сюда, к Николайчику, как говорит, в самое пекло. Тут сам иной раз ни черта не поймешь, голова идет кругом: годовой план один, перспективный — другой, обязательства сверхплановые — это на третье, сами решили с хлебом по-своему, в райсельхозуправлении перерешили и позвонили, в райисполкоме еще раз перерешили и еще позвонили. А все отчего? Каждый цифрочку возьмет да приподымет — земляца, мол, сдюжит... Максим — мужик уверенный, с собственным мнением. Хоть и командиром был, а не закричит, голоса не повысит, глянет в самую суть. Говорит, сразу после войны кончал сельскохозяйственный, экономист. И так подумать: потребовалось — он после института в училище, в авиацию, сейчас — так сюда опять же в село, здесь центр, говорит, притяжения. Такой человек...»

К мосту уже стекался народ. Вились с портфелями школьники: известное дело, завтра — суббота, можно по своим деревням, насиделись в интернате, без домашней подкормки.

С бугра на дизеле спускался Володька.

— Куда ты, леший, — бежала за ним простоволосая жена его Клавка, — куда, чумовой?

Свиридов волочил за собой обрубок — железный ка-

нат, так и съехал с ним к речке, к настилу, к торопкой мутной воде: кому-то надо же первым? Ребята из «мостовой команды» махнули ему, крикнули: «Поберегись!». приподняли канат, который так и въехал в воду ужом, пошел сечь строптивную волну. «Заглохнет или не заглохнет мотор? — загадывал Николайчик. — Не заглохнет, прощу все долги, какие были, Володьке».

Дизель вошел на настил. Ну, еще немного, еще! А кругом чернота, крутит воду. Угадай тут края, капля в сторону и — как ключ на дно. Приоткрылась дверца, трактор движется ощупью, вот он выскочил на плотину, крутанулся у одинокой ракиты. Выбравшись из кабины, Свиридов накинул петлю каната на крюк долининского «козла». Треснул сухой выхлоп, синее колечко взлетело над трубой — «козел» медленно двинулся вслед за свиридовским трактором. Все ближе, ближе сюда, к берегу.

— Это техника! — в восхищении крякнул рядом дядька Юхим. Николайчик лишь покосился на него. А Свиридова уже облепляли ребятишки, подпрыгивали, кричали наперебой:

— Дяденька, перевези, перевези на тот бок!

Свиридов стоял на твердой земле, мелко-мелко дрожали колени, в сторонке утирала глаза фартуком Клавдия.

Вскоре Свиридов возвращался с колхозного двора, таща прицепную тележку. Ребятня облепила эту тележку. На берегу и ухом не повели, как свиридовский дизель был уже далеко.

— Ты чего же детей... подвергаешь? — подлетел к нему после побледневший Позичев. — Ты чего, мальчик?!

— Да ладно уж, — переминался с ноги на ногу Володька. — Ладно вам... лаяться.

— Ладно вам, ладно,— заступилась за мужа Клавдия.— Ну чего вы на человека? Вон мост какой, теперь все езжайте. Стахановский мост.

— Стахановский мост, вот урезала,— зашумели в толпе.— И в самом деле, если подумать, стахановский...

## 11

Житков наказал бригадирам искать вешницы — объявившиеся на буграх под ветрами и солнцем проплешины. Вешницы были у него издавна на учете, и потому Николайчик не очень поверил вестям бригадиров, что можно сеять. «Небось поленились проехаться, сказали так, наобум,— думалось ему.— Зима была снежная, влаги много, выедешь курам на смех». Татьяна Федоровна не одобряла Николайчикову поспешность: чего, скажи на милость, не подождать, пока пахотные клинья обвянут настолько, чтобы было где размахнуться технике? Ее поддерживал Позичев, на что Николайчик, посмеиваясь, отвечал:

— А еще парторг. Где твоя голова? Я же газетам пишу даю. И им неплохо, и нам хорошо, смекаешь?

— Да что эти вешницы, пустяки,— стоял Позичев на своем.— Пыль только людям в глаза пускаем.

— А что, двадцать гектаров — тоже земля... Для зачина-затравки. С двадцати пойдет, загудит по колхозу, потом по району, по области. Земли южные, позволяют. По полям с утречка завтра,— кивнул Николайчик уже строже Татьяне Федоровне.— Сами обглядим чин по чину.

Чуть свет Житков с Позичевым — у Татьяны Федоровны заболел ребенок — уже месили грязь «кирзами» за Соловьиной падью. Выбирали места побурьянистей, чтобы меньше к ногам цеплялось. Слева простиупали в

тумане очертания пруда, зашедшего языком аж сюда, в Соловьиную падь. Проселок петлял по самой закрайке этой лощины, где-то за ней должны быть и выручалочки-вешницы. Николайчик дышал тяжело, но упорно шел впереди. «Танк»,— смотрел ему в спину Позичев и уже начинал раздражаться на себя, на Николайчика: тащимся черт знает куда, блажь какая-то, делать газетам политику. Татьяна Федоровна говорит, надо сеять солидно, по всему фронту. Да, а пример? Чтобы сдвинуть махину — район весь, всю область?..

Позичев поискал глазами бурьян, где бы обчистить сапоги, и вдруг впереди увидел фигуру — человек стоял к ним спиной. В плаще с капюшоном, в резиновых сапогах, только пониже, подробнее Житкова. Фигура, наконец, обернулась.

— Ты... зачем... тут? — так и присел Николайчик.

— Вешницы твои считаю,— усмехнулась Катерина Долинина.

— Свои считай,— оправился от удивления Николайчик.

— Нет, серьезно,— тронул Позичев Долинину за рукав.

— Да вон за бугром машина сломалась,— кивнула она в сторону Звездаевского хутора.

— По таким дорогам технику гробить,— сухо сказал Николайчик.

— Нужно — и езжу,— с вызовом ответила Катерина Долинина, прищурившись, смотрела прямо в глаза, тот не выдержал, отвернулся.— Мы на своих ездим, а вот вы пешком ходите, ездить не на чем. Хозяева!

— Вот прильют, прильют твой колхозишко к нашему,— приходя в себя, подмигнул Позичеву Николайчик,— тогда и на твоих будем ездить.

— А наши, семеновские, к тебе такому не захотят.

— Это ж к какому — такому?

— А к такому,— усмехнулась Долинина и вдруг запела звонко, по-деревенски:

Председатель Николай,  
Про цветы не загинай,  
Загинай про бороду  
От села до городу.

— У, язвы, уже сочинили,— загремел Николайчик и развернулся, зашагал по дороге обратно.

— А что же про вешницы-то позабыл? — толкнулся в спину ему насмешливый голос Долининой.— Ничего, шагай, шагай, посмотрю — позвоню тебе...

Позичев стоял перед ней. Кажется, она была еще красивее; простоволосая, разгоряченная ходьбой и разговором. Щербинка справа на верхнем зубе...

— А ты чего, Миша? — взглянула она из-под платка на него и рассмеялась. Постояла, угнувшись, постучала сапожком о сапожок, крутнула платок на шее покрепче.— А вообще-то давай, давай за своим Николайчиком,— подтолкнула она его и расхохоталась. И пошла, по дороге туда, к Соловьиной пади. Позичев стоял, вогнав ногти в ладони.

В правлении было людно: выдавали зарплату.

— Ну, что, обсмотрел... вешницы? — хмуро встретил его Николайчик.

— Обсмотрел,— сказал Позичев.

— Хороши? — смотрел на него Николайчик.

— Хороша... одна... которая к самой пади,— подбирая слова, отвечал ему Позичев.

— Весна,— вздохнул Николайчик и отвернулся.

— Весна,— вздохнул в ответ Позичев и прошел к телефону звонить в райком, согласовывать, когда везти механизаторов на весенний слет передовиков.

Через неделю прошелестели дожди, тут же обдуло, и уже сплошь и рядом рычали всюю трактора: сеяли сразу широким фронтом.

Житков не вылезал из машины. Стемнело. Николайчикова «Волга» неслась по полям, Позичев клевал носом на заднем сиденье. Под фары попал кто-то живой, две зелено-огненные точки метнулись в сторону и звездами катились по краю суходола.

— Заяц! — вскрикнул Николайчик, и, сбавив обороты, «Волга» уткнулась в шиповник. Тотчас на уши навалила тишина. «В самом деле, где же он? — вяло думал Житков о Федьке Сидякине.— Ведь на наряде утром указывал ему это поле». Сквозь похолодевший и потому огрузневший воздух едва проникал брех собак с ближнего поселка. Николайчик устало прикрыл веки — перед глазами поплыли привычные и незнакомые лица, колонки сводок, ровные строчки отчета в район... Где-то сбоку, во тьме, раздавались монотонные резкие звуки, словно от забора отдирали сухую доску, пришитую ржавым гвоздем. Коростель, что ли? Не рано ли? И вдруг совсем близко ударили о железо. Звук был тонкий, певучий. Житков валко пошел на звук.

— Живы тут? — окликнул он.

Впереди темнел дизель.

— А, Федор, никак поломался? — заглядывал председатель Сидякину через плечо, но тот заслонил собой гусеницу, сбросил на землю молоток и пробой.

— Эге,— удивился Николайчик.— Да ты, брат, того... Ты что это, а?... Домой захотел?

— Домой,— потупился Сидякин и вздохнул:— Двойня у меня, а жена на дежурстве.

— Ну так что? Выбивать пальцы из гусеницы?

Сидякин все отворачивался, не поднимая глаз.

— Ладно, завтра во всем разберемся,— махнул на

него Николайчик.— А сейчас забивай палец и паши, паши. Понял?

В небо взбирался месяц. Николайчик растолкал Позичева: давай-ка, мол, хоть раз за сегодня закусим. Присели у шиповника, Николайчик сбросил плащ-дождевик, постелил его наземь, вытащил из машины сверток, который сунула еще дня три назад Анна Ивановна. Положив руку на куст, хотел погладить его, но тут же ощутил резкую боль от впившейся в кожу колючки. Он не принял руки, повел дальше, чтобы этой, свежей болью хоть на миг отвлечься от глухой, уже застоявшейся боли в пояснице. Вот она, банька-то, на мосту...

Николайчик лежал и чуял телом все до травинки, до комочка под собой, кажется, всю огромную землю, с которой связал его этот «стахановский» мост, всю страну свою, испещренную городами и стройками, опоясанную железными дорогами, окаймленную морями, давнишними и рукотворными. И всюду жизнь. А где жизнь, там и хлеб. И опять же где хлеб, там и жизнь. А она, брат, не манна небесная.

— Ох-ох-ох,— поднялся, держась за бок, Николайчик.— Едем, Миша, домой.

Чуть свет, как обычно, он был уже на ногах. Постоял, послушал, как бьет ввыси перепел, пошел в гараж, куда на наряд собирались бригадиры, шоферы, механизаторы. Сообща решили, какие спешные работы, а что погодить. Народ расходился на фермы, на свеклу и овощи, к тракторам, и все в Селищах, в ближних и дальних бригадах, закрутилось своим чередом. Сидякин томился у выхода. Ну, артист!..

Николайчик гулко шагал по конторе, Сидякин ходил за ним. От свежевымытых полов тянуло полынью, телефоны пока что не надрывались. В углу новый

стенд — «Животноводческий комплекс колхоза». Позичева дело, чье же еще?.. Николайчик облокотился о ярко-зеленое сукно стола, задумался. Что сказать Сидякину? Во-он на самом верхке за рекой быстроходная трасса. Новые машины, автобусы. Идут и идут, везут всякие грузы. Трасса, как необхватное дерево, а от ствола ветви — к магазинам, заводам, городам. И ты, Федор Сидякин, со своим плугом, можно сказать, у корней...

— А давай-ка мы так,— неожиданно повернулся Житков к Сидякину.— Пошли со мной, покатаемся. Ты как вроде бы председатель, ну, а я... при тебе.

В последний момент к ним напросился Позичев. Они проскочили «стахановский» мост, протрепетавший под колесами каждой доской, и «Волга» вскинулась вправо, вдоль речки. Остановились, облюбовали местечко, присели перед стремниной, смотрели, как кипят на перекате буруны. Через голову, на тот берег, на луг, с гудом летели пчелы, за спиной длинным планом тянулись усадьбы поселка Русский...

— Зачем привез меня сюда, председатель? — повернулся к нему Сидякин.

— А так,— тихо сказал Житков.— Здесь на тебя поглядеть.

— А-а,— покосился Сидякин на него и тоже задумался.— Окунь, гляди-ка, выметывается! Играет,— толкнул он через минуту Житкова и заволновался:— Я ее, речку, с детства насквозь знаю, пруды в лугах порвало — и никто палец о палец...

— Ты — председатель сегодня, ты о прудах и думай,— сказал Николайчик и покосился на Позичева. Тот сидел как ни в чем не бывало.

Сидякин молчал.

— В колодец пустил карасей,— наконец, перебил он молчание.— Пойдешь по воду — зеркальцем вниз, а они там, в колодце,— во — чурки!

— Нашел, где откармливать, клоун,— усмехнулся Николайчик и повернулся к нему.— Ну, надумал, что делать, председатель, с прудами, с чего начинать?

Через луговину, торя след в низинной топи, завидев их, торопились от поселка две женщины. Кажется, Лапина и Слюсарева. Ну да, Слюсарева. Подошли, застеснялись сначала, потом сразу обе:

— Николай Егорыч, к тебе мы... Степан с Клавкой связался, на меня ноль внимания... Когда будут у нас подменные доярки?

— Вот, вот у нас председатель,— подтолкнул Николайчик Сидякина.— Он вам сейчас все и рассудит.

— Ты чего это, а? — подступила Слюсарева к Житкову.

— Какие такие еще шутки?

— А не шутки, так чего, так вот... сразу,— остановил ее Николайчик.— Поймали, поймали на дороге, вынь ответ да положи. По-серьезному, по-серьезному... Завтра с утра в кабинет. Будем думать... И ты думай, голова,— обернулся Житков к Сидякину.— А то только знаешь своих карасей.

— Ладно уж, Николай Егорыч,— засмеялся Позичев.— Задал ты задачу ему: помирить Слюсаревых. Да Сидякин теперь ночь спать не будет. Верно, Федор?

«Волга» рвалась в поля. Пролетая краем оврага, Николайчик загнул такой вираж, что у Позичева захолонуло в груди, даже Сидякин придвинулся к дверце.

Вдали желтел агрегат, кажется, Славки Пиняева. Ну да, Славкин. Полеводческий бригадир Аникеев дал сюда, на Ольховое поле, ему персональный наряд.

Они подскочили как раз, когда агрегат приткнулся

к обочине, а сам Славка яростно спорил с бригадиром тракторной Тимаковым.

— Данилыч, а что скажет Гаврилыч? — заметив подъехавших, сверкнул Славка цыганскими глазами.

— Я тебе говорю! — кипятился, стоя спиной к дороге, Данилыч.— Настраивай сеялку на пять штук в гнездо и гони.

— Приедет полеводческий, Аникеев, и опять по новой,— стоял на своем Славка Пиняев.— Тогда что? Гаврилыч, что скажет Данилыч?

— Иди к лешему, идол,— блеснул вставным зубом бригадир Тимаков.— Я сказал тебе, я!

— А что Танька сказала? — подошел к агрегату Житков.

Тимаков вздрогнул и медленно обернулся.

— А... агрономка дала команду по три,— сказал он поспешно.

— А почему говоришь по пять в гнездо? — нахмурился Николайчик.

— Дак... с запасцем. Разве же хуже?

— Ты мне дурочку-то не валяй,— наступал Николайчик.

— Дело ясное,— живо откликнулся Славка Пиняев.— Израсходовал поскорее кукурузу и за свеколку, так? Кукурузных семян в колхозе впритык, а свеклы сколько хочешь... За кукурузу, ясное дело, шиш с маком, а за свеколку, ххм... поощрения.

— Ну, а ты по сколько вчера в гнезда клал? — встрял Позичев, наконец, в разговор.

— Я-то? — усмехнулся Славка Пиняев.— Все время по три. Как велела Татьяна Федоровна. И потом так и в книжке написано. Вон вожу с собой под сиденьем,— наклонился он доверительно к Позичеву.— А читать особо некогда. Так, кой-когда.

— А что, учиться собираешься? — так же тихо спросил его Позичев.

— Да есть тут одна мыслишка. Риммочка хочет, чтоб я... ну, в институт ее, сельскохозяйственный...

— Может, вместе с тобой, а? — задохнулся Позичев от неожиданно пришедшей идеи и, еще стесняясь всех, сказал ему почти шепотом:— Мы потом с тобой поговорим, хорошо?

Позичев весь отдался осмыслению новой идеи и совсем забыл о том, ради чего сегодня подсел к Николайчику, но Житков тут же напомнил ему обо всем.

— Ну, понял, понял чего-нибудь? — спрашивал председатель Сидякина.— Или так... вожу тебя за здорово живешь?

Сидякин утирал пот с лица и только вздыхал. Молчал, довольный, Николайчик и вел машину осторожно, чутко, словно нес на руках.

«Как все просто у него и непросто,— думал Позичев.— Есть и палец в гусенице, есть и в цельности трактор. Это же легче б легкого — человека к ногтю... Вот наука тебе. Век живи, век учись. Подпирают ребята, вузовскую программу возят с собой на тракторе...»

Сев подходил к концу. Николайчику прислали из профсоюза путевку, с грехом пополам уломали его ехать в Славянск, на курорт, заглушить этот радикулит, обнаглевший после известных речных процедур. Вскоре в контору пришло из Славянска письмо.

«Из грязи в князи, из князи в грязи, как хотите,— читал всем письмо Максим Глыбаков.— Валяюсь, как боров, вроде как граф Каменский когда-то. Лечебная, говорят, грязь-то...»

— Значит, легче ему,— оторвавшись от листка, по-

смотрел на всех Максим Глыбаков.— Ничего, отремонтируют.

— Легчает Николайчику... Отремонтируют...— закивали все, кто на случай зашел в бухгалтерию.

«Как там мост наш стахановский? — продолжал Глыбаков.— Хороши ли всходы на вешницах в Соловьиной пади?»

Словно что-то толкнуло в лицо Позичеву, он приподнялся, достал привычный свой «Беломор», по-кошачьи, на цыпочках вышел сначала в коридор, а потом и наружу, к березкам, укрывавшим собой пустые глазницы ненужной теперь кочегарки.

Так и пришел с затревоженным сердцем домой. Прилег в чем есть на постель, но хозяйка, добрая старушка, просунула в горницу свое юркое, мелкое личико, вздохнула участливо:

— Так я чайку с малиной, я летом.

— Спасибо, Матрена Кондратьевна,— поднялся Позичев и вышел во двор.

Вышел и поднял голову, привлеченный шумом на крыше. Вышла Матрена Кондратьевна и тоже подняла голову. Так и стояли, смотрели, как на солнечной стороне крыши хозяйничал аист — длинноногая, домовитая птица. Аист принимался ладить клювом из прутьев гнездо, но прутья съезжали по железу, и аист начинал собирать их упорно, топтался сердито, начинал вымерять дощатый конек ногами-жердями.

— Старатель,— влажнели глаза у доброй старушки и зорко смотрели на Михаила.— По гнезду как жалкует... Ить как же, сколько жил тут на соломе-то. А позапрошлым летом Николайчик пригляделся к хате и вот крышу мне железом... Внук в армии, а то бы он крестовину какую-нибудь сладил... Ах ты, господи, сов-

сем закружилась,— спохватилась она и поплелась за ракиты, на улицу, встречать стадо с пастьбы.

Позичев стоял и смотрел на аиста, аист смотрел на него. И вспомнилась Михаилу Аннушка, от которой уже полмесяца нет ни строки. Он тряхнул головой, словно желая выбросить из нее все дурное, отправился искать топор.

Через полчаса четыре слезинки были затесаны и сбиты гвоздями, получилась приличная рама — клади прутья в нее, не просыплются. Тут же, не мешкая, Михаил полез на крышу, пристроил раму, притянул проволокой на распор'к раките и к дощатому петушку на фронте. Аист только подвинулся, следил за ним серьезными бусинками, и, когда Михаил, закончив, начал спускаться по лестнице, аист шумно захлопал крыльями, важно прошелся по коньку.

Дело пробудило в Михаиле энергию, он был подвижен и возбужден, зрели неясно желания, в обычные дни все забивали работа, заботы. И он почему-то подумал, что ему не так уж и много — едва за тридцать. Рядом, в сиренях, звонко щелкнула птаха. Еще раз, еще. Молодая или неумеха? Соловей? Соловей! Михаил вздрогнул: Соловьиная падь...

Он спешил, ноги сами несли его. В поля, за село. Воздух был странен, удивительно полосат: то волна теплого тока с бугра, то другая волна посырее, прохладнее — с приречных низин. Пахло зимовалой соломой, перегнившей картошкой и отдаленно, уже с Соловьиной пади, сиренью.

И все же падь возникла перед ним неожиданно. Глянулась разом из-за бугра, расцвятилась готовой вот-вот распуститься сиренью, а глубь уже терялась в туманных сумерках, в могучести вековых лип. Давнишний, еще графский парк... В роскошных сиренях хотелось

увидеть кого-то. Сейчас вот, сию же минуту. Суровую, сильную женщину, шалые козы глаза. Слабели ноги, все тело. Сирени были слегка глуховаты, пустынно, лишь где-то в их глубях настраивались соловьи, а еще дальше, на Звездаевском хуторе, голосила гармошка. Михаил немного продрог. Смущенный, уставший, под ущербленной луной возвращался он в Матренину хату.

С неделю еще, объезжая поля, норовил под вечер проскочить Соловьиною падью. Проскочит кромкой и не взглянет. И вот сегодня.

Она трещала сиренью, ломала начавшие распускаться гроздьи. Он подошел, посмотрел исподлобья. Поднял глаза.

— Жадничаете, однако, товарищ Долинина.

— Михаил? — вышла Катерина и остановилась. Окунулась лицом в полыхающую охапку.— А что ей делается? — усмехнулась Долинина.— Сирень такая... как баба. Ее ломают, она только сильнее расцветает.

— Катерина,— шагнул он и протянул руку.

— Но-но! — отвела она руку.— Тоже мне собственник... Это сирень ничейная. Ясно тебе, молодой человек?

И засмеялась резким смехом, села в машину и укатила. Позичев так и остался стоять на самой закрайке, между сиренью и полем. А в Соловьиной пади буйствовали соловьи...

## 12

Николайчик на курортах не задержался: прикатил уже через пару недель.

— Чего так? — спрашивали его.

— По картошке соскучился,— отшучивался Николайчик.— Всего раз в обед давали картошку, а то всякие фрики-брики...

— То-то, глядим, разгрузился,— перемаргивались конторские женщины.— Мост под таким уже не обвалится.

— Медицина, бабоньки, медицина,— делал серьезные глаза Николайчик и кивал в угол, на смеявшуюся больше других бухгалтера Званцеву — дородную пышногрудую женщину:— В другой раз вот кого мы пошлем. Вот над кем медики похороваются.

Дела сразу же закружили, завьюжили Николайчика. Бумаги, бумаги... ждут его персонально. Житков надевает очки — делается чужим, на себя не похожим. Коричневый в мелкую полоску костюм — милое дело в нем по полям, серенькая шерстяная рубашка — тоже не боится пылищи, и только галстук — в цветах-разводах, широченный, моднейший,— воспоминание о Славянске. Позвонили из производственного управления — выезжает комиссия на строительство животноводческого комплекса. С этим комплексом просто беда. Он уже, правда, высится на бугре: помещения подвели под крышу, а с оборудованием черт знает что. Монтируют вроде бы по проектам, а новый прораб говорит, что по таким проектам механизмы работать не будут. И зачем, говорит, средства гнать вхолостую? Чтобы ломать все после и сызнова строить? Склад корнеплодов и зерносклад разместили вон где от кормоцеха. Если бы рядом — протягивай ленту конвейера, гони корма в кормоцех. А теперь нагружай на машину, вези да сгружай.

Комиссия подкатила на двух машинах и сразу отправилась на объект. Глыбаков идет в гуще, что-то доказывает, горячится. Николайчик скажет им то же самое после. Ну, проглядели, прошляпили с этим проектом, так чего теперь усугублять?

Внизу — не виден — рычит, всхрапывает мощный

дизель: Славка Пиняев роет котлован под навозохранилище, выбухал уже до желтка, до глины. Тут же гора срезанного чернозема. Можно, конечно, смешать чернозем с навозом и пустить под компост, на днях звонили из города, просили земли для газонов. Нужно думать и о горожанах... На горизонте, за Соловьинной падью, синеют уже заматеревшие посадки, в них Гнилые пруды — верхний и нижний. Пора и за них браться. Вчера в районе обещали, наконец, технику.

— Хорошо, хорошо,— отвечает Житков членам комиссии,— завтра встретимся в кабинете у первого, у Чубукова,— а сам думает все о тех же прудах: «И впрямь запустить туда зеркального карпа, приставить к ним Сидякина Федора?»

— Ты тут давай... распорядись,— отозвав Максима в сторонку, говорит негромко Житков.— А я проскочу в Гнилые пруды. Есть мыслишка...

Житков заезжает за Федором. Где-то тут в проулке должна быть его хата. Он, Николайчик, забрел в первый раз сюда лет с полсотни тому назад, еще в детстве; гнал да гнал гусей по обмелевшему Цону, а выгонять на улицу пришлось через сидякинскую бахчу. Дед Никишка выскочил на гусиный гогот, лохматый, с колодой в руке, увидел Николайчика, голопузого, в цыпках, и враз сошла злость, уходя, заворчал: «Ты бы ето... зашел.. сотворил бы тебе обувку». Все они такие, Сидякины — землю, бывало, пахать не заставишь: дед сапожничал, сыновья — кто по бондарному, кто плетушки плести... Федька, внук, и тот по сей день норовит вкось от пахоты — карпом забил себе голову. Такая семья.

Давно не был в этом кутке Николайчик, не с руки сюда, в стороне от дорог. Когда-то хата Сидякиных считалась лучшей в Селищах. А сейчас, за пиняевским и свиридовским строениями, глянуло на него из ракит

полувросшее в землю, подслеповатое, с мшистой тесовой крышей — такое утлое жилье, что Николайчик даже запнулся, не поверил себе, с трудом уходило из него то, что помнилось с детства.

Николайчик остановил «Волгу» у первой ракиты и, разминая ноги, прошел во двор. Двор просторный и травянистый, нога утопает по щиколотку, за ненасытную тягу гусей к этой низкой мягкой лесистой траве Николайчикова супруга называет ее шпуром-«гусятником». Тут же — легки на помине — под старой грушей и гуси, крутятся под руками у женщины, которая, наклонившись, дает им корм. Она в цветастом шелковом платье, узел тяжелых медных волос в такт рукам вздрагивает на затылке.

— Бог в помощь, — шумит на весь двор Николайчик.

Женщина разгибается и тыльной стороной руки заводит за ухо непокорную прядку. Николайчик разглядывает ее: лицо полновато, но мило, на носу бусинки пота.

— Что, хозяин на работе, Глаш, ай выходной?

— У нас выходной, когда дождь обкладной, — ворчит Глаша. — Собралась на дежурство, а тут гуси не кормлены. На него понадейся...

— А где же он?

— Он-то? Да где ему — на речке, должно. Бюллетенит. Все не слава богу. Палец теперь молотком на ремонте повредил. И смех, и грех.

Николайчик оглядывается и приседает на стоящее кверху дном ведро, утирает пот со лба, шумно вздыхает.

— Ой, да что же я, — срывается с места Глаша, поднимает с травы табуретку, проводит ладонью по ней, обмахивает передником.

— Позови-ка своего благоверного,— останавливает Житков ее.

Глаша пошла по стежке между огородами к речке, Николайчик принялся рассматривать двор. Старая груша накрывала его наполовину, оттого вокруг было сумеречно, даже блики не пробивались сквозь многоэтажную листву. Покосившийся краснокирпичный сарайчик на подгнивших дубовых столбах, задняя, к огороду, стена хаты заплетена ивовым прутом, рассевавшаяся под напором земли завалинка... И только колодезный сруб крепкий, как новенький. На сосновой связи еще не выветрились следы топора, не вымылись дождями капли бегучей смолы. Николайчик снимает с лавки пузатое, обитое обручами ведро и неспешно пускает его с цепью вниз, в стальное оконце. Ведро бухается в воду, и звонкий жестяной звук, перебиваясь ребристыми стенками, докатывается, наконец, до Николайчика. Прежде чем приложиться к ведру, он заглядывает в него, словно надеясь увидеть на дне карася; в какой-то миг успевает оценить выдумку деда Сидякина, посадившего у колодца эту вот грушу — и тень дает, и воду держит корнями. В губы толкнуло кислотовато-железистым холодом влаги, Николайчик от удовольствия зажмурился...

С огорода, вверх по стежке, поднимался Федор Сидякин. Он в синей, белым горошком рубаше и босиком. Левой Федор толкает перед собой голубую коляску, на коляске болтается кукан — голавли на капроновой леске, правую несет, держа вверх и чуть на отлете.

— Знаю, когда приходиться,— поднимается Николайчик.— На рыбку, на рыбку... А ну, покажи наследство, не бойсь, я не глазливый.

Федор вкатывает коляску в сирень, стоит какое-то время, смутившись. Николайчик приоткидывает бело-ро-

зовые кружева, заглядывает в недра, видит рядышком две светло-русых головки. Сопят себе сразу в четыре дырочки, спят сразу в четыре глаза — мальчишки, и нет им пока никакого дела до груши, наливающей соком земным плоды, до возникающих и исчезающих звезд где-то в небе над головой, до скрипа колодезного ворота под рукою соседки...

— Богатые вы,— кивает на коляску Николайчик.— Ишь, как устроились, космонавты!

— Богатые,— светится Глаша и зовет, приглашает Николайчика в гости, «хоть на минутку, хоть на секундочку» в хату, в прохладу.— Сбегай в погреб,— посылает она Федора,— принеси-ка кваску.

Прямо из сенцев Николайчик ступает в главную комнату. Пахнет нетопленной печкой, застоялым прогорклым запахом гари. Потолок низковат, между темными досками в четверть пальца пазы. «Рассохлись как»,— примечает Николайчик.

За ситцевой занавеской — постель, шифоньер, окна тоже в ситцевых занавесках. В углу выскобленный стол, по стенке дубовая лавка. Промеж окон в рамке старые фотографии: дед Сидякин — ну, конечно, он — с поставленными в одну точку глазами, на коленях натруженные кулаки: отец и мать Федора, еще молодые, видно, сразу же после свадьбы. Точно такое же фото Николайчик видел у них на могиле; дальше дяди и племянники, чужие, неподвижные пожелтевшие лица. И тут же, сбоку, цветной портрет на блестящей плотной бумаге, вырезанный из журнала,— Юрий Гагарин.

— Что-то у вас тут, как при царе горохе,— замечает Николайчик.— Как еще, наверно, при деде Сидякине.

— С этим ковры не наживешь,— скучнеет Глаша лицом.— Часом с квасом, часом с таким. И сказать за себя не умеет, и скажет — лучше не надо... Все у него

маоборот, все из рук вон. С трактором горе одно. День постоит, два погодит. То запчасти нет, то подсунут изношенную... Уж ребята ему помогают, да что, если сам не везет. Я уж его в больницу хочу к себе взять, с врачом говорила. Хоть сторожем... Послала в погреб за смертью... перекинул небось кубаны. Вы посидите тут, я пойду рыбки поджарю.

Николайчик видит в окошко, как хлопочет Глафира у самодельного, из природных камней, очага, как спорится все у нее: затевается огонек, ставится сковородка, ложатся друг за другом разделанные и вываленные в муке рыбешки. Он уже чует их мягкий и нежный хруст на зубах, сладковато приторный запах лука и вспоминает о квасе: и в самом деле, Федора еще нет. Житков замечает на уголке стола стопку книг, выбирает самую толстую, лениво вертит страницы — все о рыбе, ее повадках и разведении. Мудрено. Ну-ка, а это что? Листок за обложкой. Заметка, что ли, в газету? Почерк вроде бы Федора. «...пишут, читал, что, мол, шумят о любви к родным сажалкам, бочагам, старицам, речкам. Шумят, думаю, и будут шуметь. У кого ее не было, речки, тому шуметь не о чем. Когда тяжело душе, хоть камень на шею, прихожу на берег, присяду и ей все рассказываю. Мне она утешение. Она, наша речка, как песня иная, как, бывает, моя Глаша. Грозит, разливается, а войдет в берега...»

Житков закрывает книгу, долго смотрит в глаза деду Сидякину.

Глафира вносит шкварчащую сковороду, бухает на подставку.

— Не пришел еще? — спрашивает она про Федора.

— Нет, Глаша,— говорит Николайчик,— да ты присядь на момент, посиди... Ты его любишь, Глафира, своего непутевого?

— Люблю,— пожимает Глаша плечами.

— Ты помягче к нему,— вздыхает Николайчик.— Ласку человек ищет.

Глаша опустила голову и покраснела. Снова метнулась во двор, а в сенцах затопали: наконец, Федор. Он ставит на стол кошелку с горшками-корчагами, дышит шумно:

— Руку об угол зашиб. Всегда так: если больное, бережешь, крутишься, а зашибешь.

— Чем это ты ее, молотком? — спрашивает с участием Николайчик.

— Да нет же... если по секрету, не молотком, не зашиб. Карбункул это, простыл. Глаше уж и не говорю, карбункулов мне еще не хватало... Это я по ключам лазал тогда, после нашего разговора.

— Это какого же?

— Ну, про Гнилые пруды. Почему, думаю, гнилые? Дед наш рассказывал, не были копани за Соловьиной падью гнилыми. Вот каждый ключик я и облазал... Рвет руку, вон как разнесло.

— Ну, давай, давай квасок,— вскакивает и потирает Николайчик ладонь о ладонь, так что сухо шелестит кожа.— Милое дело, милое дело, сынок.

Федор плеснул из горшка в жестяную кружку, и в кружке забелело, запенилось.

— Знатный квас, с хреном, должно быть? — утерев губы, ставит Николайчик кружку на стол.— А ну-ка еще.

— А это — квасок клюквенный,— радуясь похвале, хлопочет Федор и вытаскивает из кошелки горшки-корчажки.— А это вот пряный... Из пареной калины... медовый... ржаной с брусникой...

— Ну даете,— удивляется Николайчик,— ну, кудесники, специалисты. Да кто ж у вас это?

— Все он,— смотрит на Федора Глаша, войдя незаметно в горницу.— У них, Сидякиных, это семейное — квасы и рыба. То ягоды собирает и сушит, составляет рецепты. То щучек вялит. Вон они у него под крышей, на низке...

— Ты его в сторожа не тяни,— уходя, прощается с Глашей Житков.— Рано ему в пенсионеры-то. Мы еще что-то придумаем. Верно, придумаем по специальности.

Солнце еще высоко. Поставив машину под елку, Николайчик спускается лысым бугром вниз, к прудам. Пруды все в березняке, белые стволы, отражаясь, лежат на прудовой поверхности, рябит так, что тяжело глазам. Вода еще не успела затянуться ряской, и потому не так манит уток с соседнего хутора, диким и так хорошо. Два чирка приподнялись с протоки и, прошумев, бухнулись с лету в кугу. Федор идет впереди, чуть приплясывает, машет руками. Нравится Николайчику походка его, нравится он весь со спины — опущенные неширокие плечи, длинная тонкая шея, даже пиджак, даже простые в полоску штаны, коричневые матерчатые туфли с кожаными носами. Такие же туфли Николайчик видел недавно уцененными в раймаге, куда забегал на днях купить для бухгалтерии шторы.

— Где ты лазал? Где забились ключи? — спрашивает он Федора, а сам косится на место, где присели чирки, на кугу, там, наверно, оконца, вода. И в самом деле, Федор показывает на зеленую щетку:

— А вон где... и вон... и вон там... По горло грязи, с лощины стянуло. Ошиблись с лощинами.

— Да, ошиблись,— соглашается Николайчик и вспоминает, что на правлении уже поднимали этот вопрос: взодрали травяную лощину, а вешние воды, дожди теперь тянут поверхностный слой в пруды, закрывают ключи. Три первые года брали неплохой урожаем коноп-

ли, а после, вот уже четыре, клин, истощаясь, сходит на нет.

Федор сбрасывает рубаху, собираясь лезть в воду.

— Ты что! — пугается Николайчик. — Тебе же нельзя. — А сам все смотрит на матерчатую обувь Федора, думает: «Если когда и придется за что ему премия, то куплю сапоги. А то на свои куплю. Нет, просто так не возьмет, мужик гордый. Куплю хромовые ему, комсоставские, как у Максима. Пусть-ка ходит человек в сапогах. Хорошо, когда в хромовых».

— Ты, Федьк, знаешь чего, — говорит уже вслух Николайчик, — ты мне карту составь, где какие ключи. А я завтра же в «Сельхозтехнику»... А насчет лошины подумаем. Две головы хорошо, а двадцать две лучше.

Над головами живым темным облачком, то сжимаясь, разжимаясь, то темнея от гущины, прорежаясь, пролетает пчелиный рой в березнячок.

— Меняют прописку, — ведет взглядом Николайчик. — С нашей пасеки, с Русского поселка. Здесь хотят поселиться, значит, приглянулось местечко.

### 13

После сева время вроде неспешное, но — туда-сюда, набежал сенокос. Раньше, бывало, с косами, граблями, с прибаутками все Селище высыпало в луга. А теперь один Славка Пиняев за день выстрижет весь целиком луг-заказник. Вчера пробовали новую технику — лишь брикеты вылетают, перевязаны проволокой. Отвалили деньгу — зато вещь...

Николайчиковы размышления прерываются голосом Анны Ивановны: кличет завтракать. Выпив кислого молока с медом и закусив магазинной булкой, Николайчик начинает собираться в луга, в тот самый луг-заказ-

ник, заходящий языком в Соловьиную падь. «Чего это нынче душе какое-то послабление?» — думает про себя Николайчик и вспоминает, что на после обеда сегодня в лугах назначен праздник труда, будут петь и гулять, вручать премии и подарки. И еще одно интересное дело сегодня: женятся, наконец, его «крестники» — Славка Пиняев и Риммочка. Семья новая, трудовая; как говорится, от кого бы ни дитя, а кормочку придется подбрасывать, хату строить...

С утречка пораньше он решил проскочить в луг-заказник, осмотреть, как и что, чтобы днем без всяких случайностей обошлось, заодно заглянуть в Соловьиную падь — в посадках, слышно, объявились грибки.

Всегда так: пора сенокосная не дает забыть, что и он, Николайчик, был когда-то мальчишкой. Луга, лески, поймы, старицы — все его были. Он надевает голубую застиранную рубаху, в которой иногда управляется по двору, и, не подпоясавшись, босиком, направляется к меже через огороды в луга.

— Эй, Николайчик! — останавливает его требовательный голос супруги. — Ты куда это? Голоногий, башки! Колко же.

И несет ему неразношенные, всего три раза надеванные черные туфли, купленные им самим прошлым летом в Москве. Он ворчит недовольно, но послушаться не решается, забрасывает обувь на палку за плечи, движется дальше. Анна Ивановна идет следом, приговаривает:

— Ох-ох, Николайчик, я ить тоже с тобой, по зверобой, по шалфей. А то скоро косить, прозеваешь, чем чай тебе буду заваривать?

Они идут молча, след в след. В низинах прохладно и сыро, туманы стягиваются сюда, выпадают сизой росой. Сзади вьется длинный, свежеторенный ход; ноге

ступать мягко и выразительно, через живую подошву так и тянется ввысь прохлада, слышится шелковистость земли. «А ведь остудится Николайчик,— примечает супруга, но сказать не решается.— Да и ладно, вон уж скоро вершки, на вершках потеплее».

Она собирает свое, он — свое. Поначалу он звал ее поглядеть то на «добрых молодцев» — подосиновиков, то на белый гриб — «курунную мякоть», а то даже на свинушков, «ишь, шахтеры, зарылись по самую шляпку», но потом пообвык, успокоился. На опушке наткнулись на Астахова. Тот, вроде замешкавшись, бросил что-то в кустах, вышел навстречу.

— Кого я вижу! — всплеснул Николайчик руками, так что выпал из ведра подосиновик.

Анна Ивановна заныряла по своему делу дальше, дружки толковали про всякое.

— Ты, Николайчик, как стал начальником, так и за грибками ходить перестал,— затевал разговор Астахов и уводил Житкова куда-то дальше, к опушке.

— Видал?! — встрепенулся Николайчик.— Ишь, когда косить выехал, дьявол. Когда росу сдуло. А потом начнет перед бригадиром оправдываться: трава не берется, не режется, жесткая. Говорил ведь: пораньше. Нет, с подушкой никак не расстанется, рыбовод!

— Да кто ж это?

— Федька Сидякин... Помнишь, Афанасьич, как вручную, бывало, косили, а? — тихим радостным смехом залился Николайчик.— На осоку в обед и не выходи — оборвешь косу. Так и с техникой тоже надо с умом... Жизнь, конечно, назад не обернешь, да и не за чем. Было время — косили литовкой, теперь трактора. И вообще подумать, назад землю раздай — не возьмут, куда с ней соваться-то? Так и мы с тобой... годы... в обратную, брат, не поперешь, не поперешь.

— Запел,— отодвинулся к раките Астахов,— и чего ты вороном каркаешь? Мне вот сны опять всю ночь не давали.

— Знаешь что,— перебил его Николайчик.— Тебе вот как другу скажу: быть начальником плохо. Как на вышке какой, перед всеми со всех боков. И за грибом не всяк раз разгонишься, и босиком не прошлепашь. Я понимаю: это сейчас ко мне пообвыкли — Николайчик да Николайчик, он такой, мол... И квас пьет, и исподники носит. Главное — колхоз на хребту своем выволоч... А бывало, даже жена Володьки Свиридова, Клавка, урежет мне прямо в глаза: что это ты, скажет, у нас за председатель такой? В район ехать — на шоссе голосовать ходишь, маячишь в кирзовых сапогах, в соседнем «Победителе» Тарнавин-то в хромовых... Жизнь сейчас, конечно, другая, но у иного, даже и из производственного управления, понятие вроде Клавкиного: вид давай ему, да и только, вид он любит. Человек должен быть вроде как в упаковке.

— Ты мужик,— сказал Астахов важно и рассудительно,— ты в председателях от земли, мужиком и остался. А Тарнавин откуда был и кем он сейчас? От научности, из ученой семьи. И сейчас инженер, директор пенькотрепального треста.

— Николайчи-и-ик! — Послышался в глубях посадки голос Анны Ивановны.— Где ты, Николайчи-и-ик? — Подошла через минуту, в руках пук земляники.— Гляди, ягоды спеют,— протянула она Николайчику.— Жарогонь! Прихитренные, чтобы глазом, значит, не скользнуть мимо... Там, в чащобе, кто-то слег наполнил, живьем березу срубил.

— Ну-ка, ну-ка! — кинулся Николайчик и обернулся к Астахову: — Идем и ты, Афанасьич.

Астахов лениво тащился следом. Подошли к ветле,

у которой встретились с полчаса назад. Николайчик заглянул в кусты: там смиренно лежали белые чурки, тут же торчком стояла макушка березы с еще зелеными ветками, но уже обреченными, лишенными связи с землей. Рядом валялся топор.

Николайчик перевел взгляд на сапоги Астахова.

— Твое дело, Дмитрий Афанасьич? — обратился он тихо к Астахову.

— Да одну палку,— сказал тот и махнул небрежно на ветки:— А что ж я, солому домой понесу?

— Знаешь, какая статья?

— Вон в соседнем совхозе главный инженер двадцать четыре куба досок на дачу упер — это статья! — не отступал Астахов.— А это так... баловство... Да и не твое, не колхозное.

— Хоть и друг ты мне навроде,— угнул голову Николайчик,— а штраф, Митичка, лесничеству, какой надо, уплатишь. У Николайчика так, у Николайчика ментом. Такие бы весь заказник вязанками разволокли...

— Ирод... бревно необструганное! — сказал Астахов и в сердцах бросил топор.— Еще в классах был такой-то дурной. Подавись ты этой слемой! — И пошел, зашагал, ничего не видя перед собой, прямо в лес.

После обеда, в белой пикейной рубаше, шерстяных черных брюках и в тех, утренних, туфлях Николайчик направлялся на праздник. Анна Ивановна ушла еще раньше с соседками. Николайчик тоже ехать не захотел, собрался вместе со всеми, мужиками, бабами, в общей гурьбе. До Соловьиной пади дорога привычная, а там — рукой подать — и заказник. В уголке, среди берез, растянут кумач со словами «Добро пожаловать!», стоят с едою-питьем столы, даже из райцентра прибыл буфет — это уж Максим Глыбаков постарался. Пиликают гар-

мошки, трещит у автобуса радиола — прикатила ельнинская агитбригада.

После официальной части, на которой брали новые обязательства и вызывали семеновских на соревнование, все рассыпались по лугу, ходят лениво, замедленно, не зная, куда себя деть. Начали кучковаться — по знакомству, по-родственному. Столы занимать неохота, лучше на траву, в подкустье, в березы. Постепенно разбираются, кому куда сесть, где прилечь.

Позичев на таком совместном гулянии в первый раз. Там, где он возростал, больше трех-четыре семей не собиралось. Да и так рассудить: куда их лесным деревенькам до необхватных степных здешних сел? Николайчик в своей стихии: мотается туда-сюда, похихатывает, задевает каждого шуткой, наконец, приустан, уходит туда — под березы, к молодым. А вон и Максим, сильный, чубастый, красивый; Позичев залюбовался им, выделив из многих, даже из молодых. Глыбакову тоже есть куда себя деть: жена врач, в своем коллективе, туда же потянули и Максима, и там уже смех, прибаутки. И только он, Позичев, не может пока никуда притулиться. Зовут все к себе, а как сразу ко всем? Он подсаживается в кружок к Володьке Свиридову.

— Я стою, значит, голосую,— выступает перед всеми Володька,— а машины по шоссе все мимо да мимо. Час стою, два стою. Тут мне один хитрый старичок и подскажи такой способ. «У тебя, говорит, есть в кармане бутылка?» — «Это, говорю, завсегда». — «Ты, говорит, достань ее и помаше». Помахал. Тут же «газон» тормозищами рык. Едем, едем, приехали. «Ну, говорит, когда ее, родимую, кончать будем?» — «Да хоть сейчас, отвечаю». Показываю, а на этикетке: микстура.

— Хитрый способ,— смеются все, и сам Володька Свиридов, и Позичев.

Михаил проходит дальше, приостанавливается, ловит слова и обрывки слов краем уха, всем телом: как все это знакомо, все близко, все трогает и волнует его. Там, за вербой, гармошка старательно выводит вальс «На сопках Маньчжурии» — здесь, у древистой пижмы, сидят старички.

— Отсюда я прямо сыздетства на шахту,— говорит один темнолицый, прямой, словно гвоздь проглотил.— Саночником сразу поставили... Пласт падения сорок пять градусов. Ну-ка, удержишься в ботинках. А разуешься — ничего, стоишь цепко. Так у саночников пятки углем изрезаны на узоры. Утром встанешь, ноги горят огнем, а потом потихоньку расходишься. И подошвы были — черные, грубые, как баллоны.

— А у нас в деревне тоже один был такой, в баллонах,— выбирает минутку сказать свое другой старичок, весь, как лунь, суховатый.— Летом ходит в шубе и шапке, а зимой может и босиком. Вскочит с печки и босой во двор, корове давать, а потом опять на печь. Жизнь такая была...

«Жизнь такая была...— повторяет Позичев и идет себе дальше.— Много ли кому надо? Одному нужно все, все чего-то хочет, хлопочет. А другому — кусок хлеба, и он уже сыт, он доволен... Впереди пласты падения и подъема, не одни еще пятки в узоры изрежешь, пока каждый и вместе придем к цели...»

Сколько Позичев ни ходил, ни подсаживался к тем и другим, а само собой притянуло сюда, к Николайчику, к свадьбе. Присел незаметно в сторонку, под бузину. Для него подвинулись, уступили местечко.

Где-то ввыси тяжело, с надрывом, гудел самолет.

— Мы поднимаем этот тост,— заглушая своим голо-

сом гомон застолья, поднялся и встал у ольхи Николайчик,— поднимаем за молодых. За жизнь. И вообще,— вскинул он голову и посмотрел сквозь ольху в небо.— Я ж еще когда говорил: свадьба будет. Вон какого парня Риммочка отхватила. Мы на свадьбе еще и у ваших детей погуляем. Горько-о!

— Горько-о-о!! — поддержали под березами, ивами, бузиной, калинами.— Горько-о...

Риммочка покраснелась, сидела, не двигалась.

— Горько! Го-орько-о-о!! — кричали настырно из-за ракиты. Жених покорно склонился к невесте.

— Ну-ка, дай-ка ту — котору! — крикнул вдруг Николайчик, чтоб отвлечь внимание, и, взмахнув руками, вылетел в круг.

Таким Михаил не видел его никогда. Никогда бы и не подумал, что большое и грузное тело Николайчика может оказаться ловким, послушным, почти невесомым. Он плясал, проходя козырем, то на пятках, то на носочках, затем ринулся вприсядку. Все вокруг разом преобразилось: все повскакали с деревянных скамей, закричали, захлопали в такт, осушая ладони. И вспомнилось Михаилу не раз слышанное им и здесь, в Селищах, и в райцентре, в райкоме, и даже в области о том, как пляшет селищенский председатель. Плясал он, знают, всего несколько раз. Когда ходил пареньком по «матаням», то, ладно,— забылось. А вот однажды, когда, сразу после войны, последнюю ржицу в счет покрытия плана районом велели вывезти из колхоза и на трудодни достались колхозникам «палочки», и бабы, засучив рукава, с ребятишками нагрянули в правление к председателю и, потеряв рассудок, прижали его в угол к стене, тогда он, Николайчик, вскочил вдруг на стол и на столе своем, на бумажках, чернильницах, так сплясал им, что Клавка Свиридова, на что заводила,

а и та улыбнулась сквозь слезы:— «И лих же ты, Николайчик! — И первой двинулась к выходу:— Пошли, бабы». В последний раз плясал Николайчик в фойе театра в том городе, где проходило зональное совещание и где ему вручили орден Трудового Красного Знамени. Тогда доплясался он до того, что пришлось призывать медиков и делать укол.

Николайчик завлекал из толпы того и другого.

— Шире, шире круг! — распахивал он руки.

Вот он вызвал невесту, Риммочка покраснелась, отыскала глазами Анну Ивановну, та кивнула ей: не подведи! И Риммочка сорвалась, закружилась.

Баян сыпал и сыпал русскую, все дробнее, дробнее. Частушки полетели вдаль по заказнику, языком заходящему в Соловьиную падь, и туда же, обняв свою Риммочку, уходил, исчезал с глаз людских Славка Пиняев, за ним — каждая своей стежкой — потянулись беспечные парочки.

## 14

В три часа дня из районной больницы позвонили и сообщили: Николайчик сбит на дороге. На дальнейшие расспросы телефон ответил частым тревожным пиканьем. Позичев бросил трубку и, обведя взглядом всех, кто был в бухгалтерии, сказал чужим голосом:

— Николайчик сбит тракторным прицепом... Помирает наш Николайчик.

И тут же почувствовал, как обомлели все, как у самого вспыхнуло и загорелось лицо. Всего два часа назад разговаривал он с Николайчиком, тот ругался с плотниками, которые вкривь и вкось повязали рамы для теплицы; заметив в сторонке Позичева, Николайчик

предупредил, что отлучится на станцию: пришли, наконец, тепличные трубы, но точно к сроку будет на открытом партийном собрании по вопросу подготовки к уборочной.

С Максимом Глыбаковым на первой попавшейся машине Позичев мчался в райцентр. «Тополек, еще тополек»,— косился он в сторону, и в голову лезло разное, но памятью выделялся тот день и эта дорога, когда он с Николайчиком ехал впервые в Селище: пулеметный говорок председателя, и топольки, топольки...

На шоссе, у отростка, ведущего в семеновский колхоз, былолюдно. Боковыми колесами влетел в кювет голубой трактор «Беларусь», прицепную тележку развернуло и подняло на дыбы. Тут же, на лопухе, Михаил увидел подпекшиеся капельки крови.

И пострадавшего, и тракториста уже увезли. Работники ГАИ вымеряли рулеткой тормозные участки. Позичев подошел к двум шоферам, которые по тому, как вокруг них плотнился народ, казались свидетелями случившегося. Они рассказали, как вылетевший с колхозной дороги трактор чуть не врезался в одного из них. Из идущего следом «козла» выскочил плотный, коренастый мужчина, кинулся в пробку, но тут, развернувшись, прицепная тележка налезла на него, ударила косяком по затылку. А так ничего, все нормально, машины и трактор целы, и люди... Кроме того, коренастого. Увезла его «скорая»...

— Ну вот,— оглядел поворот Глыбаков,— и здесь тополек придется сажать.

Николайчик очнулся через трое суток. Дни и ночи сидела у его изголовья Анна Ивановна, время от времени появлялись селищенцы, спрашивали тревожными глазами и исчезали так же неслышно, как и появлялись. На четвертые сутки Николайчик пришел в себя,

лежал, тужась понять, где он и что с ним. Увидел перед собой лицо Глыбакова, шевельнул чужими губами:

— Что, схоронили уже Николайчика?

Он лежал, как забинтованная кукла, грудь и шею броней обхватывал гипс, не давал двинуться. Удар, по словам нянюшки Венедиктовны, «оборвал Николайчику позвонок». Врачи хорошего не говорили, лишь поругивали между собой начальство, не представившее какое-то оборудование, но отправлять Николайчика в областную больницу не решались. Еще сутки Николайчик боролся с собой: учился работать веками, водить глазами, кое-как двигать губами, рукой; утром потребовал телефон. Пришел сам главврач, Николай Никодимович.

— Надо мне, тезк, надо,— шептал на ухо ему Николайчик.— Дай ради бога команду... чтобы все видеть, слышать... распорядиться... не выйду отсюда... вынесут вперед ногами...

— Да ты что, ты что,— успокаивал его Николай Никодимович — здоровенный, в светлых очках мужчина-хирург.— Мы с тобой за грибками еще походим.

Но телефон из дежурки велел все же поставить.

Анну Ивановну Николайчик усладил домой. Лежал недвижимо, смотрел на окно, подоконник. Кто-то был до него здесь на этом вот месте? Ему носили гостинцы—сушеные финики. Человека того, может быть, уже нет, а в память о нем эти вот острые, плоские, жестковато-зеленые стрелы в банке из-под консервов. Сколько ниток у тебя к жизни, сколько ниток к тебе от нее. И каждая, если подумать, твоя, прикипевшая, чем-то интересная. И все в тебе, если подумать, сводилось лишь к одному — к хлебу, как бы людей накормить... Кто это, помнится, говорил, уж не Михаил ли? Заводов поналепить, изделий на них понаклепать — это все можно. А вот землю, нет, не построишь, хлеб на ней покамест

ничем не заменишь. Хлеб, брат, добывается вот этой горбьякой, руками вот этими, он пот и кровь, все мы вместе и каждый врозь, все из начала и в бесконечность. У того, кто хлеб родит, быть не может конца...

Успокоив себя таким образом, Житков принимался ждать кого-либо из посетителей. Приходили многие из райцентровских и своих, деревенских. Был сегодня из райкома первый, сам Чубуков. После него Николайчик и попросил телефон. Нашупал его словно бы не своей рукой, выждал, когда сойдет жар с лица,дохнул в трубку:

— Мне Селище, правление...

Приладился, начал просить районные учреждения, селищенские бригады, стал звонить соседям в колхозы, в область, в другие города, даже в Архангельск, куда собирался послать бригаду на зиму, дай лишь станет дорога, окрепнет в стволе древесина, пробовал по нужному делу звонить даже в Сибирь... Николайчик, как выразилась его супруга, «затвердел сейчас, как бревно, боль загнал в кулак». Анна Ивановна исправно брила его пожелтевшие, обмякшие щеки и плакала потихонечку.

Дела навалились на Глыбакова и Позичева, только теперь они поняли, сколько всего тащил Николайчик. Боже избавь допустить послабление, какую-либо промашку. Надо было учитывать и перспективы, так работал сам Николайчик, повторял: шей сегодняшнее, а выкраивай завтрашнее. Оба были, чего там, не мальчики, знали, что ожидает Житкова: в крайнем случае, он уже не вернется в колхоз председателем, и каждый мысленно примерял себе такой хомут, как колхоз, чувствовал неприятное жжение под воротником. Все делали вместе, дружно, спрашивая друг у друга совета. Несколько раз на своем песочного цвета «газике» приезжал из райсельхозуправления Петовский, повертевшись, ничего толком не спросив и не разъяснив, исчезал.

Вчера он появился в сопровождении Катерины Долининой. Был подвижен, даже шутлив, когда ездил с ней по полям и по фермам. Обычно острая на словцо, Долинина хмурилась и даже не всегда ему отвечала. Позичев видел, как изменилась она в эти дни: губы остыли, лицо постарело, набрякло. Когда говорила с ним, Позичевым, и с Глыбаковым, едва не заплакала, с трудом устояла.

— Как так получилось у нас... с Николайчиком. Я виновата, дура! Послать на станцию этого... уф! Должен был привезти установку, бахчу поливать... Николайчик где-то выхлопотал и мне отдал. Тогда отдал свою УДС... он такой, наш Николайчик...

Утром, когда шел наряд, в правлении позвонил телефон, трубку снял Максим Глыбаков. Трубка долго молчала, Глыбаков уловил чье-то дыхание, взволновался, вытер со лба испарину, растерянно оглядел всех присутствующих, сильнее притиснулся к трубке.

— Максим,— наконец ощутил он движение мембраны,— я знаю, ты меня слышишь, ты сейчас на наряде, а я уже все, брат, баста, не слышу, все стенки темные... Приходите прощаться...

Максим долго держал трубку прямо перед собой, уперся взглядом в трещину над дверью.

— Что там, чего? — задвигались бригадиры.

— Н...николайчик зовет прощаться,— четко выговорил Глыбаков.— Всех зовет прощаться с собой Николайчик.

Николайчик лежал неподвижной белой куклой, прикрыв проваленные глаза, и люди входили, постояв, уходили и входили другие. Доярка Оборнева, Федор Сидякин, Астахов; хозяйка Позичева и та, старая, притащилась. Анна Ивановна стояла спиной, упершись лбом в оконную раму, рядом был и сын Николайчиков —

Иван Николаевич и внук Николайчиков — Коля. Когда появились Максим Глыбаков и Позичев, Николайчик слегка шевельнулся, открыл глаза, отыскал напряженным взглядом обоих.

— Так что ухажу от вас,— надавил он на голос, говорил, передыхая.— Принимай портфель, Глыбаков. Беседовал с Чубуковым, и народ за тебя... Ты мужик сильный и грамотный, нашу линию знаешь — земля и хлеб. Все вперед, по науке. Цифры, копейка... А я, что ж, я вовремя, мне пора... Новая жизнь, новые люди. Нелегко тебе будет: народ растет, всех кормить надо, а земли все те же... Помогай ему, Миша,—перевел он глаза на Позичева,— вместе надо, сынок... Эх, ребята, помирать неохота.

Михаил почувствовал, как что-то начинает ему ломать горло, двинулись стены, ушел в сторону пол. Тут же стоял и плакал Максим Глыбаков.

— Мать,— задышал Николайчик,— а мать... Скажи мужикам в Селище: все, кто должен мне до полсотни, всем прощаю... Все, кто больше, пусть платят колхозу. Пусть карманом своим владать учатся. Жизнь такая, не манна небесная...

За окном начинался дождь. Тучи нависли над большими тополями, в комнате сделалось сумеречно, жесткие просяные капельки просыпались сначала в одно, потом в другое окно. В коридоре нарастал шум шагов, дверь в палату рывком распахнулась: на пороге стояла Катерина Долинина. Были одни лишь глаза — горящие, крупные, горело лицо, рябое от грязных, уже обсыхающих брызг.

— А-а, Катерина,— приоткрыл Николайчик веки и хотел приподняться.— Ты зря это, зря.— Житков дышал тяжело.— Максим,— позвал он, укрепляя голос.— Максим, помогать, слышишь, надо соседям. Кто ей, ба-

бе, поможет?.. Мы, Максим, с тобой оборотистые... Где подмажем, там и подъедем... Из Архангельска доски должны прийти, Катерине отдашь половину...

Николайчик выдохся, четверть часа лежал, не двигаясь. Наконец, шевельнулся, отыскал глазами Долинину, улыбнулся уголками губ:

— В чем оно, Катерина, отличие... руководящего треугольника от того, что... ну, в геометрии? Все углы, девк, у нас не обязательно острые, поняла?.. А собирались, Катерина, жить долго, века. Ты еще молодая, живи... А я сейчас, как перед светофором,— баста, не поедешь на красный...

Он откинул голову, на лбу вылило бисер.

— Устал Николайчик,— надвинулась на Долинину, как насадка, Анна Ивановна, вытесняя ее в коридор.

Целый день Позичев, как неприкаянный, бродил по районному городку. Все валилось из рук у него, он заходил в магазины, где продавались хомуты, сбруя, калоши, игрушки, смотрел на все равнодушно. Очутился на почте, на переговорном пункте, и только тут спросил себя: да зачем все это ему — каменные дома, продавщицы, телефонные трубки, от которых на тысячи километров тянутся провода? Он подумал, что ведь и Аннушке можно сейчас позвонить, телефон — вещь великая, но перед глазами качалась Катерина Долинина — в красной капроновой кофточке, лицо в сиреневых брызгах. «А ведь меня никогда не любили,— защемило у Михаила.— Никто, никогда... Ну, разве что в юности и то так... самую малость». И ему до боли в груди, страшной боли, стало жалко себя...

Он пришел к Николайчику на закате. Глыбаков уже был в палате, пришли проститься со своим «крестным» и молодые Пиняевы. Николайчик увидел Пиняевых и повеселел.

— Перед красным я... остановился,— срывался и снова креп голос у Николайчика,— а вы молодые, вы давайте на зеленый, зеленый... Что, интересно, дальше-то будет? Скоро третья тысяча лет...

— Да уж приду, расскажу тебе, что будет дальше-то, Колюша,— наклонялась к нему Анна Ивановна и утирала платком, гладила ладонью сыреющий лоб.

Сколько разного было пройдено с ним. Даже подумать страшно, что он вот уйдет, а она останется... Как же такое возможно? С фронта вернулся живехонек. С фронта! А тут на тебе: тележка какая-то, трактор... Вот она, жизнь человеческая. Тот, кого жалеют, уходит, а кто не только людям, а и себе в тягость, те живут и живут. Как же так: жить без пользы? Ракита стоит в огороде — тень дает, тянет воду корнями к картошке. Даже камень и тот на бугре не без пользы. А тут — человек!..

В тот вечер Николайчик не умер, не умер он и на другой день; боль по Житкову в Селищах делалась застарелой, все привыкали к Максиму, которому Николайчик передал свою власть, но главный символ ее — «толкушку», печать — держал до поры у себя под подушкой. Самая страсть вроде миновала: Николайчик как бы повис между жизнью и смертью. Каждый раз, бывая в райцентре, Максим захватывал с собой документы, к которым следовало приложиться «толкушкой», и появлялся в палате у Николайчика. И каждый раз, когда Глыбаков испрашивал того или иного совета, Николайчик, выслушав все подробности, прикрывал уста-ло веки:

— Сам решай... будто я уже... э... Одно скажу: держи, Максим, линию... нашу, хлебную...

Дела захватили Максима. Позичев видел, как, чтобы поддержать Николайчика, Максим лез из кожи с

теплицей. Заложили для нее фундамент, вывели угловые столбы и навесили рамы, уже застеклили наполовину, другую часть собирались затянуть пленкой, которую Глыбаков выпросил на плодово-ягодной станции. Сдерживало отопление: труб, присланных из Москвы, не хватило, и Максим добывал недостающие: шефы со сталелитейного завода вроде бы обещали помочь. Глыбаков хотел сдать теплицу как можно быстрее, до уборочной.

С утра во вторник, когда Анна Ивановна отправилась в Селище, в дверях раздалось шарканье ног, покашливание.

— Так что это мы, Николайчик... годки твои.

Перед Житковым возник Астахов, за ним стоял вроде дядька Юхим.

— Ты куда бороду свою дел? — поразился Николайчик.

— Хи-хи,— смутился дядька Юхим.— Сбрил, раз тебе бороденка не нравится. А я в воскресенье от внучки. От Маняши, из этого... Нальчика-Мальчика, каких только мест, ей-богу, не бывает на свете.— И заторопился, потянул из-за спины георгины.— А тут, говорят, это... ты... Думаю, может, ты уже помер, а оно, гляди, еще ничего.

— На могилу, что ли, нес мне цветочки, старался?

— Мы так решили,— заключил речь дядька Юхим,— да любого у нас в Селищах по башке трактором двинь — что останется? А ты — во! Голова...

Годки Николайчиковы подтащили к кровати стулья, уселись покрепче.

— Мы уж и местечко на кладбище тебе присмотрели,— сказал откровенно Астахов.— Бабке чтобы твоей не метаться... Рядом с первым почетным колхозником

Иваном Спиридонычем. Здесь были вместе, тружениками, и там...

— И я себе тоже, поближе,— пропищал дядька Юхим и смахнул со щеки слезу.

— Не-е,— нахмурился Николайчик,— я, Митьк, рядом с Юхимом лежать не хочу...

— А чего уж? — вздохнул Астахов.— Все, Николайчик, там будем. Без различий, заслуг и рангов.

— А того,— захлопал веками Николайчик,— ты, Юхим, про теплицу забыл? Все тебе некогда. Опять своим палисадником занялся?

— Вот те крест, Николайчик,— побожился дядька Юхим,— будут тебе зимою тюльпаны.

Позичев вошел незаметно, поставил в рядок с Николайчиковыми годками свою табуретку, постепенно вклеился в разговор. Годки говорили о жизни и смерти, и не было в их словах тени смущения, беспокойства, тем более — страха. Жизнь и смерть, да и только. Без различий, без пропасти меж ними. Будто можно их поменять, переставить: смерть и жизнь. А ведь жизнь ускользает от Николайчика, почему же он так спокоен?

«Почему человек так спокоен, когда ускользает жизнь», — думал в тот миг Николайчик.

А тут ускользает не жизнь, а время, и то, как мучительно, как невозможно видеть уходящие годы, недели, часы, если вдуматься,— каждый миг. И что от них, от тебя остается? Какая такая карпусула? Ты стал маленьким холмиком, и место твое в этом мире тут же занято кем-то другим. Но кем же? Продлишься ли ты в нем всеми своими сомненьями, страстями и болями за каждого в мире, за все человечество?

«Я пожил не зря,— слушал Астахова Николай-

чик, и в голове Николайчика было ясно, а груди тяжело.— Земля дает человеку понятие, земля учит и учит...»

Николайчик умер неслышно, почти незаметно сошел на нет. Как раз загремела уборочная, начались зерновые планы — сверхпланы, за которые Николайчик, бывало, «и сам расшибался в доску, и других загонял за Можай». В первый раз, в такую горячую пору, лежал он тихо-мирно под маленьким холмиком, на том самом месте, которое подыскал ему Митька — его фронтовой товарищ Астахов. Первое время жена Николайчикова так тут и пропадала: лежала часами на комковатой могиле, а мимо пролетал на отцовой «Волге» Иван Николаевич, Ванюшка, их сын, зоотехник в соседнем районе, потом появлялся здесь, уводил мать домой. И дома смотрел на нее со стены Николайчик — живой, невредимый. Под фотографией покоилась розово-бархатная подушечка с орденом Трудового Красного Знамени и боевыми наградами...

Вскоре Позичева вызвали в райком партии, к самому Чубукову. Дождевик висел у двери кабинета, Чубуков расхаживал наискось, от плаща до большой, вполстены, карты района.

— Ну, что, Позичев,— остановился и схватил Чубуков всего его взглядом,— не надоело тебе в этом колхозе?

Позичев не ответил.

— Тут вот какое дело,— присел рядом с ним Чубуков, заговорил доверительно: — Катерина Долинина уходит на председателя сельсовета, а тебя предлагают в семеновский колхоз. Председателем... Как оно?

Все в Позичеве сжалось, пришлось неожиданной болью: Николайчик, теплица, Федька Сидякин, Гнилые пруды, Володька Свиридов, «стахановский» мост...

— Что вы, Андрей Николаич! — сказал Позичев, чувствуя, что голос плохо слушается его. — Это никак невозможно. Да, никак, никак невозможно! Как же из колхоза? Это же... это же... наше... мое... И потом Николайчик наказывал, я обещал... Николайчика нет, Максиму одному тяжело.

— Видал? — засмеялся Чубуков. — Видал как: то его в Селище чуть ли не силой, а теперь оттуда не вытянешь, а? — И заходил опять по кабинету, остановился, положил руку на плечо Михаила: — Ладно! Оставайся в своем Селище. Но учти: за колхоз перед партией отвечаете наравне с Глыбаковым.

На «стахановском» мосту, который в народе называли теперь Николайчиковым, Позичева встретила жена Володьки Свиридова — Клавдия. Уперла руки в крутые бока, преградила путь крепкой фигурой.

— Ну что, уезжаешь отсюда? — сказала она, усмехаясь. — К Катерине Долининой под бочок?

— С чего взяли? — отступил на шаг Михаил. — То же мне, выдумают.

— Значит, не уезжаешь? — розовея, повела плечом Клавдия и махнула подходившим женщинам: — Бабы, а ведь он не уезжает!

— Не собираюсь покамест, — опустил голову Михаил. — «Все знают, ничего не скроешь». — И опять поднял голову, смотрел прямо на Клавдию, у той вспыхнули мочки ушей.

— Не собирался и не собираюсь, — твердо сказал Михаил. — Мне и тут хорошо. — И пошел вразвалку, неспешно по дороге к правлению.

Шел по улице: ближе к речке лежали дубки — Николайчик завез на баню, чуть подальше сложены щиты двух стандартных домов для специалистов — Николайчикова забота, из еловых посадок торчал недокрытой

крышей Дом культуры, дворец — тоже Николайчиком выхлопотан. Бежит время, скользит каждый миг. Думать некогда, надо работать... Верно говорил Николайчик: все нам некогда, некогда, своим палисадником заняться некогда.

Ноги вынесли его за околицу, шел он торной стежкой — полями, полями, к Соловьиной пади, к сиреням, где, ломясь в уши, буйствовали соловьи. «Какие, к лешему, соловьи в августе?» — осенило вдруг Михаила, он приостановился. Где-то стрекотала жатка.

*г. Орел — г. Малоархангельск*

## *Рассказы*

### **КОСТРОВЫЙ ПОЯС**

Стоило трубам сахарного завода возвыситься над южной окраиной Вздвиженки, как тут же на приречной луке засерели дома поселка, прозванного в округе Мотами. В один из таких силикатных домов и переехал из середины райцентра Марат Зерновой. Переехал и на завтра же приколотил перед своей квартирой самостийно сотворенную вывеску «Народный краеведческий музей». Люди быстро узнали про открытие новой культурной точки, и уже к истечению дня первый любопытный зашаркал у порога зерновской квартиры.

Собственно говоря, в быту Зерновых ничего не изменилось: как ютились прежде в комнатушке три на четыре, так и опять стали ютиться в спаленке. Остальную территорию глава семейства аннексировал под музей, «какого еще не знала история Вздвиженки». Любаша давно уж привыкла к выкрутасам своего мужа, а в последнее время, убедившись в бесполезности изменить что-либо, махнула на его затеи рукой. И потому, если и не помогала, то и не мешала ему собирать экспонаты.

Затевалась выставка предметов народного быта. Зерновой возвращался домой вместе с заведующим райотделом культуры Крахмалевым. Шли они оба неходко, средним шагом. Начальство казалось потолще, лет на

пятнадцать постарше и темнее лицом. Зерновой был гибок в фигуре, улыбчив и яснолик; над ушами, выбиваясь из-под фуражки, висели темно-русые, с легким подпалом игривые кольца.

Крахмалев вышагивал важно, руки в карманах. Марат торопился заверить его в своей лояльности по отношению к райотделу, а заодно и выпросить кое-какой мелочишки вроде клея, полотна, белой бумаги и прочей необходимости.

В зале-музее теснились школьники. Нина Стефановна вела экскурсию ровно, уверенно, указка так и ходила по стендам. Марат с высоким гостем проследовали на цыпочках в спальню, присели к столу, сидели и ждали конца занятий...

За окном серел мартовский снег, потемнели деревья, вот-вот вскроется речка Вздвиженка. Надо спешить, чтоб выставку успели посмотреть и зареченские.

— Вы из местных? — спрашивает его Крахмалев.

— Здешний.

— А имя какое-то... заграничное.

— Всегда спрашивают про имя,— сказал Марат.— Я уж ответ в стихах заготовил. Значит, так: «Рванулись к знаниям наши предки и дали те́ нам имена...»

В дверь кто-то заколотил, раздались шумные голоса. «Извините, Евгений Иванович»,— кивает Марат.

Дверной проем заслоняет живая, шумно дышащая глыбища. Ах, да это тетка Олимпия! У кого в мире еще такая мощнецкая фигура?

— Сколько лет, сколько зим. Ну, как там деревня наша, родимая Густоварь?

Сзади кто-то толкает, подталкивает тетку Олимпию, но тетка Олимпия стоит непоколебимо.

— Что Густоварь, говоришь? — наконец, выныривает из-под теткиного крыла дед Тришка, теткин муж, и ве-

дет, словно приплюхиваясь, носом по комнате: — Свое густо варим, чужое не собираем...

Сам он сух, востроват, держится на ногах шатко-валко, лицо пышет жаром, сырые глазенки так и рыщут по стенкам, над глазами фуражка с захватанным крабом. Давным-давно, еще в дни своей молодости, теткин муж с годишко проплавал на какой-то торговой посудине и теперь считает всякое море, в том числе и житейское, себе по колено.

— Уже нанизался! — осаживает супруга тетка Олимпия. — Пока я по промтоварным, он в винополюный... У, растармашный! — намахнувшись на него, шагает через порог тетка Олимпия и смотрит вокруг с интересом — на витрины, плакаты и стенды. — А это что? — тычет она в кость мамонта. — А это? Вот это? — идет и кивает она то на застывшую фигурку дрофы, то на кусок железной руды. — А это?

— Так это же прялка, тетка Олимпия, — приостанавливается в удивлень Марат и смеется. — Своих уже не узнаешь...

— А это? — останавливается она у кострового пояса в изумлении. Пояс и в самом деле хорош, гордость маратовского музея. Лет полтора ему, не меньше, а краски-то, краски! Так и звенят костровым узором. А шерсть-то, шерсть-то — легка да мягка. Недаром такую вещицу Марат поместил в главный угол. Ишь, горит, полыхает, высвечивает. Ишь, змеится, извивается, вьется с потолка и до пола...

— Шшо-о это? — осекшимся голосом повторяет тетка Олимпия, вытаращив глаза на пояс, и переводит взгляд на деда Тришку: — Откуда же это?

— Н-да, откуда ему тут? — озадаченно смотрит тот себе под ноги и пританцовывает: — Во дела...

— Это же мой пояс! — буря лицом, гремит тетка Олимпия, так что за окном шарахаются грачи с ракиты.— Это пояс еще, царство ей небесное, нашей прабабки.— Она тянется к гвоздю и мощной рукой изымает костровый пояс из экспозиции.— Вот. Вот. Вот,— мнет она его в крепких ладонях и показывает Марату какие-то подпалины, метки и прочие, одной ей видимые приметы, свидетельствующие о несомненной принадлежности вещи к теткинному роду.

— Да-да, это точно... твоей прабабки...— поддакивает дед Тришка.— Только как он тут? Вот в чем преамбула.

— Злыдень, растащитель, пьянчуга! Все добро из хаты сволок! — засучивая рукава, надвигается на мужа тетка Олимпия. И приостанавливается, принимается подвывать неожиданно тонко, по-бабьи: — Иссушил всю, окаянный...

— Небось не помрешь,— отступает дед Тришка.— Когда брал из девок, пятнадцать раз поясочком обхватывалась, а теперь только три. Исхудала...

Тришкины слова уязвляют тетку Олимпию в самую душу, она на момент замолкает.

— Уж кто-кто, а ты бы, дед, из своей бочки не квакал,— говорит она неуверенно.— Гермаген нашелся...

— Диоген,— вставляет Марат.

— Ей-бо... того,— невинно глядит на Марата дед Тришка и, обернувшись, переходит в атаку, кричит визгливо на тетку Олимпию: — У-у, тайфун! Еще оскорбляет! Всех врагов общей жизни на одну мою голову: Гермаген, Диоген...

— Гематоген,— вставляет кто-то из школьников, до толе неслышно наблюдавших за сценой.

— Ге-ма-тоген,— отбивает четко за ним дед Триш-

ка и поворачивается на звук: — Гематоген... кгм... Это, интересно узнать, чей же будет еще такой император?

Школьников бросает в безудержный хохот. Смеется и зерновой. Оценив обстановку, тетка Олимпия поднимает голову, толкает новокрещеного императора к выходу и, ведя его под конвоем, исчезает за дверью с ценнейшим экспонатом музея под мышкой. Вслед за Императором уходят и школьники.

— Это как же понимать, товарищ зерновой?! — надвигается на Марата заведующий райотделом культуры. — Если перевести экспонаты на количество бутылок, скольких ты...

— Евгений Иванович, — бледнеет зерновой, — все должно быть по чести. Трудом досталось. А этот пояс дед Тришка сам приносил.

— Ну вот что! — хмурит уже в коридоре лохматые брови начальство. — Райотдел культуры так считает: вернешь костровый пояс в музей — оправдаешься делом, разрешим выставку. А вообще не беру на себя такую ответственность. Завтра с утра в райисполком, к заместителю. На беседу по существу.

«По существу, так по существу, — упавшим голосом повторяет про себя зерновой и старается не смотреть в угол с пустыми гвоздями. С тяжелым сердцем садится он за стол и сидит допоздна. Сочиняет письма частным лицам, музеям, чтобы прислали ему то одно, то другое. То в обмен, то просто так. Пишет он туго, напряженно, находя нужное слово, предчувствуя и возраст, и темперамент, и интересы, и тысячи тысяч всего того у предполагаемого читателя, что решит судьбу его просьбы. Он и почерк выработал безукоризненный, и бумагу на святое дело бережет мелованную, чтобы хоть чем-то сдвинуть с места душу своего адресата.

Походил, поездил. Чего только не собирал. Забивал

экспонатами сараюшку, сенцы и комнату. Любаша с пятилетним Колюнькой уж привыкли перепрыгивать через кипы желтых газет, стопки гербариев, через Маратову радость — кусище железной руды, найденной в речном отвале у Самочерновки. Он и сам привык ко всему: и ходить по единой свободной дощечке, и ужимать семейный бюджет, и тратить деньги и отпуск на поездки по нужным местам. А когда доводил экспозицию, как он всем говорил, до «экстаза», ехал сдавать ее в область, в краеведческий музей. «И не жалко? — спрашивали. — Столько лет жизни». «Жалко, — отвечал Зерновой. — А куда же мне все? Пусть идет на люди». И теперь вот, извольте, в райисполком. На беседу по существу...

С тяжелым сердцем проходит Марат в спальню. Мерно сопит в своей кровати Колюнька, Любаша лежит, отвернувшись к стене. Тихо плачет Любаша. Ах, эти женины слезы, бессловесные слезы. Все знает, все понимает. Слышала, интересно, про райисполком? Сама же давала на пояс пятнадцать рублей. Отсчитывает ему на всякое тройки, пятерки, десятки, дает на билеты туда и обратно — в Киев ли, Суздаль, Воронеж... А вчера кто-то из ее сослуживцев заметил, до чего же аккуратно у нее на пальто заштопана дырка. На перелицованном, на месте бывшей пуговицы.

— Ты все о том же? О проклятой штопке? — подсаживается Марат к Любаше и топит руку в ее волосах. — Ну, глупая она, та женщина, глупая!

— Ты у нас умный, — отстраняет Любаша его руку. — У Колюньки прохудились ботиночки, и тебя же — по существу...

— Но, Любаша...

— Что Любаша?

— Колюньке ботиночки купим. Вот пришлют зарплату...

— ...барин нас рассудит. Третий месяц шлют. И кому в голову стукнуло оформить тебя заведующим клубом где-то в Дворищах?

— Ты же знаешь, что в районе нет такой штатной должности — директор музея. Дали ставку — значит, верят, Любаша, в меня, в дело моей жизни. А костровый пояс...

— Костровый пояс! Шею стянул петлей... я еще молодая, я жить хочу! А не ходить в отрепьях во имя твоих сумасбродных затей, во имя...

— Замолчи-и!! — Марат задохнулся от крика.

— Ты что... на меня так? — шепотом, словно во сне, сказала Любаша и упала лицом в подушку.

Колюнька зашевелился, зачмокал губами. Она лежала и вздрагивала, сдерживалась, чтобы не разрыдаться, зарываясь в подушку то правым, то левым плечом.

Он толкнул дверь, вышел в чем был наружу. Воздух резко ударил в легкие. Под ногой захрустела льдистая корка. В чьем-то сарае встряхивались на насесте спронежья куры. Глухо ухала паровая баба на заводе, над всем поселком, уходя к звездам, горела алыми точками заводская труба.

Ну, трудно, трудно! Так дело какое — для всех ведь. Ведь съест скука, если жить просто так, для копейки. О чем мечтали с Любашей в семнадцать лет? В семнадцать все готовы за идеалы хоть на край света, к чертям на кулички, на плаху. А потом только поддайся. В двадцать пять — захочешь, чтоб край света стал поближе, а плаха — помягче. В тридцать — идеалы уже не выше кухонного стола. И вот в тридцать пять человек нечаянно узнает, что жил не так, как задумывал, что не сделал в жизни самого главного. Липкий пот ночами, страх и холод в сердце — все это ему было знакомо, так мучительно, пока не нашлось достойное дело, и сознание не уте-

шилось мыслью, что он не просто так, он нужен кому-то. И этот костровый пояс, эта тетка Олимпия, сотни писем, людей, экспонатов, этот вызов в райисполком для беседы по существу...

Скрипнула дверь — вышла Любаша. Постояла, поглядела на алые точки заводской трубы, набросила на Марата тужурку, прижалась к плечу:

— Прости меня.

Утром выяснилось, что заместитель председателя райисполкома с вечера еще не вернулся из дальнего колхоза, и Зерновой, не теряя времени даром, решил отправиться в родные места, в Густоварь.

В полях сильно парило, чмокали, уходя в землю, тающие снега. От густого земного настоя кружилась голова, сладко толкало сердце. Санная дорога была еще вся во льду, принакрыта конским навозом, она бугрилась над местностью и знакомо вела, подгоняла Зернового в родную деревню. Еще спуск и изволок. Еще один лог и вот она, речка, светлая, славная Вздвиженка. Скольким обязан каждый из нас такой невеличке. Детство на берегу, в плоскодонке, здесь тебе и еда, и игрища. Караси и плотвичка снуют по коленям, в пятки бьют роднички, заросли ивы свешивают косы в самую воду. На песке горит неумолчно костерчик, и кипит, кипит в котелке. И Володька Ефремов читает про ковыльные степи, про вольную жизнь, про Тараса Бульбу и запорожцев, и казакуют пацаны ковылями до горизонта, сшибаются в рубке с ненавистным захватчиком, горят в огне вместе с Тарасом, вместе с ним шевелят спекшимися губами: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая пересилила б русскую силу?..»

Но сейчас Вздвиженка взбухла и почернела. С вечера поднаперли полые воды и подняли, вспучили лед. Но ведь вон же она, Густоварь. Вон и хата родная. Мать

что-то делает возле ракиты... Вон и дом тетки Олимпии. Тетка Олимпия, тетка Олимпия... Ведь и впрямь без кострового пояса не разрешат, чего доброго, выставку. Ну что ж, надо, так надо. Своя речка, не выдаст... «Переправа, переправа, берег левый, берег правый...»

Лед под ногами задышал, захрустел, белые ветки разбежались далеко вперед, и Марат почувствовал, что уходит куда-то вниз, в темную воду. На крик прибежали люди из ближних хат. Его багром и ремнем вытащили уже из-под льда. Отнесли к матери в хату. Сколько лежал, провалившись в бездну, Зерновой и не помнил. Бредил, метался, снова бредил костровым поясом, «разговором по существу».

Очнувшись, он увидел перед собой лицо матери, услышал чьи-то голоса и глубоко, с присвистом вздохнул.

— Живой! — всплакнула мать, и мужики загалдели, забалабонили наперебой.

День был праздничный, под вечер, поуправившись, они сбились к Зерновым и караулили «утопленника», коротая время за разговорами. Громче всех выступал дед Тришка, нареченный во Вздвиженке — как уже было известно всем — Императором.

— Большой воды под киль сыну твоему, Мефодьевна, — возблаговестил дед Тришка.

Марат поднял голову, дурман постепенно сходил с него, взгляд прояснялся. Мужичкам уже было весело, разговор то и дело прерывался натиском смеха.

— Слушай, Марат! — кричал Император. — Еремей приволок тебе сани-кошевки для выставки, вытащил из курятника, не нужны?

— А я а... а... оглоблю, — выговаривал заикастый Жилкин. — Ми... ирровая оглобля. Еще купца Парамонь... монь... монькина на а... а... оглобле этой возили.

— Оглоблю, язви ее душу! — хохотал Император.— Кому она, оглобля твоя, ха-ха. Разве твоей Жилкинихе...

Дед Тришка обернулся на стук двери и осекся: в дверях стояла тетка Олимпия. На груди ее сверкала медаль.

— Я тебя, дьявол, зачем посылала? — густо спросила она деда Тришку.

— Во баржа, во трюмы свои расходокала,— криво улыбнулся обществу Император.

— А ну марш ко двору! — тряхнула Императора тетка Олимпия.— Трепотни твоей тут не слышали!

— Отойди, говорю, не то торпедирую... Глядите, какую медаль вчера моя Олимпия отхватила на совещании.— Император явно поворачивал разговор в другое русло.

— За что ж тебе, а, Кирилловна? — зашумели голоса.

— За показатели,— коротко бросила тетка Олимпия.

— Зря, что ль, на свиноферме с утра до ночи? — сказал, гордясь, Император.

— Дурак! — обрезала его тетка Олимпия.— За доблестный труд, конечно,— обратилась она ко всем. И наклонилась к Зерновому.

— Слушай, Васильич,— голос ее задрожал необычно, она смахнула со лба ладонью испарину.— А ить я принесла тебе свой поясочек обратно. На, милый, родимый,— распрямилась она, и голос ее приобрел прежнюю крепость.— Вот,— плеснула она из свертка, и, горя костровым огнем, пояс раскатился по полу до самой двери.— Пускай пребывает у тебя там, в музее. Пускай люди смотрят, какие-такие в роду Градобойновых были кудесники... А то ить как,— заговорила она тише и доверительней,— подходит ко мне вчера в перерыве на совещании заместитель предрика вместе с таким... серова-

тым... Ну, начальником по культуре. Правда, мол, Олимпия Кирилловна, что зерновой экспонаты за выпивку в свой музей отбирает? А меня так и дернуло. Я им так вот прямо в глаза. Вы, говорю, мне медаль сегодня вручали и чествовали, я молчала, а теперь дай скажу... Какой же такой у него свой музей, когда это дело общее, можно сказать, государственное? А коль общее, до коих пор ему одному на свою трудовую копейку собирать костровые пояса? И до коих пор тот музей будете держать в частной квартире?.. Вот какому человеку надо медаль за все его трудовое, общественное, а не дергать по райисполкомам для «беседы по существу». Заместитель предрика сверкнул глазами на начальника по культуре и начал ему напоминать про какие-то финансовые фонды. А ко мне повернулся и говорит: «Письмами люди райисполком запрудили. И прудят, и прудят, просят помочь зерновому. Есть решение передать старое здание гостиницы под районный музей. Так что пусть Марат Васильевич поскорее выздоравливает. Хлопотать надо...»

От стольких слов, сказанных сразу, тетка Олимпия приустила. Снова под села к Марату, гладила на колене шерсть кострового пояса, повторяла:

— В хорошие руки даю. На вечный погляд трудовому народу.

Марат подтянул пояс к постели, примерил к груди, улыбнулся:

— А ведь отпятила ты, тетк, кусочек от пояса?

— Отпятила, батюшко... Да ить как же? На память. Дарю, а жалко. Наше, семейное, градобойновское... Болела как-то, лежу на печке — на улице вьюга, в хате сумеречно. А он передо мной на гвоздочке висит и горит, и светит. И в хате светло, и на душе благодать.

— Ладно, — засмеялся зерновой и сжал руку тетке Олимпии. — Ничего, пояс твой и без того длинный, бес-

конечный твой пояс. Вон откуда к нам тянется, из давнишнего века, а через нас протянется к нашим детям и внукам. Чтобы помнилось градобойновское.

Зерновой видел привычные лица, привычные стены, чуял привычный гуд и привычные запахи лука, капусты, соломы, свежего хлеба, и густой, устоялый дух стенного бревнистого дерева вливался в него через душу и растекался теплом.

«Значит, сдвинулось,— думал он.— Значит, пойдет». Он принялся мозговать, какую ему теперь сделать новую вывеску — прежняя, конечно, тускла, мелковата. В голове заходили дела, и все неотложные, важные: надо пробраться в глухие, лесные деревни — там, говорят, кое-где хранятся старые книги; наведаться в Гречиках к одному деду — резчику по дереву; в Коновике — делали сбрую, в Живых Ключах — вышивали, в Суходолье — ткали ковры. А то ведь растащится, затрется все, черви съедят, позабудется. С куском железной руды из-под Самочерновки не забыть сходить к заместителю предрика — видать, мужик понимающий, свойский: пусть вызывает геологов... И куда нашей Вздвиженке без музея, и куда музею без кострового пояса? Всех стянул воедино: из давнего через нас перекинется в вековые века.

*п. Колпны*

## У ТОЛСТОВСКОГО РОДНИКА

Кочеты лежали тремя отдельными деревнями. Главная дорога вводила меня в бывший помещичий сад, где теперь восьмилетняя школа.

Сад как сад, обветшалей обычных. Щемящее чувство заброшенности усиливается, лишь спустишься к пруду, на поддонный голос лягушек. Цветы водосбора — розовые, синие — колотят головками по коленям, плечо трогает куст волчьей ягоды, когда намекнувшейся тропкой врезаешься в околопрудные заросли.

С трех сторон пруд охвачен зеленой подковой, с четвертой — в отдалении хаты. Ивы, орешник, ракиты, береговая трава кое-где заходят в самую воду.

— Смотрите: какая же синяя! — с восторгом говорит Егор Кириллович — из здешних, лет сорока пяти, лобастый, с живыми глазами, подрядившийся показать мне Кочеты.

— От глубины?

— Да. И от чистоты... Лев Николаевич Толстой наезжал сюда в последние годы к зятю — помещику Сухотину, к дочери, которая была за ним замужем. К Тане. Говорят, Толстой любил этот пруд. Сиживал здесь вечерами... Да вон на том бугре живет Фроловна, она ему хоры и собирала.

И вновь мы идем через заросли. Предки Егора Кирилловича были здесь крепостными, гнули спину, может, и в этом саду, а вот он, Егор Кириллович, теперь в родимых местах учитель истории, директор той самой школы, что глянула на нас из-за старых лип большими и чистыми окнами. За разговором мы углубляемся в сад. Слабо угадываются аллеи, чернеют дубовые пни в два ряда — плоские, словно столы, на которых можно отобедать не меньше пятерым. А кругом самосев, он развился в подлесок, в частые тощие клены. Под ними ровная зелень хвоща. Сочится ключами берег. Все тенисто и сумрачно, и немного таинственно. Где-то здесь похоронена внучка Толстого.

— А вот и родник,— останавливается Егор Кириллович.— В народе бают: если пить эту воду — укрепляется зрение, проясняется разум. Этой стежке уже тыщу лет. Ходил к роднику и Толстой.

Вода как вода. А смотришь в нее — как не задуматься? А задумаешься — обольет она душу и заставит замедлиться в жизненном беге, просветлеть в мысли: а как и чем живешь ты, человек?..

От родника стежка выводит к школе. Липки перекрывают натоптанный двор, делают его зелено-тенистым, уютным. Давно уж пропали старые, сухотинские липы, это их отпрыски. В классах, куда заходим, на столах охапки сирени, бело-розового водосбора. Шел экзамен по литературе. На доске полустерто написанное мелом — темы, наверно. Не по Толстому ль? Вот за этой партой сидел какой-то кочетовский мальчишка, морщил облупленный нос, и брезжил перед ним в своей смутности сложный человеческий путь...

Тележный след поднимался к строениям. Я поразился тому ощущению свободы и легкости, которое давалось простором и неоглядностью, открывшейся с сухо-

тинской усадьбы, обсаженной дубняком. Даль синела слоями километров на двадцать, у горизонта пыхтел паровозик.

— Благодатное, Марьино,— кивнул неназойливый Егор Кириллович.— Лев Николаевич писал: если бы Наполеону пришлось давать сражение в этих местах, для своей ставки он непременно б избрал Кочеты. А это амбар. Смотрите — замчище. Говорят, времен Льва Толстого. А здесь стоял каретный сарай. А вон там подвалы. Вековые. Думалось, не будет им слову....

Егор Кириллович как-то никнет. Энергия, которой полнилась вся его небольшая плотная фигура, пропадает, лицо становится мягким и вялым. Проходим мимо обветшалых подвалов. К флигелю. Здесь когда-то была библиотека, вот у этих оконцев читывал книги Толстой. Серый кругляк, обшивавший кирпичные стены, кое-где обвалился, обнажив бурую кладку. Время расшатывает и ее. Один угол строения сгорел, другой подгнил и осаживается.

Егор Кириллович оживает, когда речь заходит о делах школы, совхоза, о передовых кочетовцах. Прошлое переплетается у него с настоящим, о прошлом он говорит так, словно это было недавно, вчера.

— А это вот что? — отвлекаюсь я, глядя на заросли диковинных растений у флигеля: лист разлапист, как у подсолнуха, но не шершав, глянцежит.

— Может, лекарственное? — гадаем мы с Егором Кирилловичем.— Иль декоративное?

— Груша это,— подходит старуха,— груша и есть... Земляная. Господа зря сажать не будут.

— Настасья Фроловна Федосеева,— наклоняется спутник ко мне,— урожденная Сенюшкина. Луке Артемычу Сенюшкину, здешнему революционеру, двоюродная сестрица.

— Так вы сестрой ему будете? — спрашиваю я и настаиваю на долгий разговор.

— Да. Двоюродная,— поджимает сухие губы старуха.

— Старинную жизнь помните?

— А как же ж, помним.— Голос у Фроловны еще сильный и ровный, глаза смотрят с прохладцей, словно бы изучают нового человека. Лицо строгое, с тонкой, прозрачной кожей.— Помним и брата своего, и Льва Николаевича.— И начинает сразу, как-то заученно:

— Я была у господ подрядчицей, набирала девок дорожки подбивать в парке, за цветниками ухаживать. Начинали от круговых дорожек у пруда и шли выше, сквозной аллеей, до господского дома.

А насчет этой груши... Господа эту самую грушу частью тут потребляли, частью отсылали куда-то. И еще спаржей занимались. Сеяли во-он на том месте, где сейчас Танька Скворцова живет... Но, скажу, хоть и был у меня деверь в поварях у господ, а какие-такие бисквиты эта самая спаржа и груша — не знаю, не пробовала. Сурьезный был наш хозяин — Михал Сергеич...

И вновь поджимает губы Фроловна. Они уходят куда-то внутрь, и тогда острее становится подбородок, выделительней нос, в уголках губ ложится жесткая складка.

— И вот появляться у нас начал Толстой.— Старуха глядит, не мигая, и все в одну точку, вызывая в памяти воспоминания.— Так, сам он вроде мужик: в длинной светлой рубаше, борода надвое раскидывается... Приезжал со своим врачом Душаном Петровичем, до осени и гостил... Любил с Лукой Артемычем, с моим братцем, беседовать. Подрядился, помню, Лука крышу господскую красить. Слезет с крыши разводить краску, а Толстой разговор и затеет. И сидят на плетеных диванах

под илим-деревом, все толкуют да кофий ли, чай ли там пьют. А про что толковали — не знаю. Лука Артемыч тогда уж с большевиками водился. А вскоре Лев Толстой пришел в деревню Веселую, собрал всех мужиков да вот так и скажи:

— У помещиков, у зятя моего Сухотина сейчас всего много, на серебре едят. А у народа куска нет. Нехорошо. К чему это привести может?

А вот и привело. Брат-то мой, Лука Артемыч, ушел из деревни в матросы, долго от него вестей не было, а потом пошли кругом митинги. Слышу: в уезд приехал мой братец. Побежала туда, а там в кумаче улицы и знамена, словно хоругви, и Лука Артемыч что тебе генерал: не подступись. Народу — стеной за ним, и все с револьверами! Слух прошел: власть Советскую Сенюшкин провозглашает... После к нам в Кочеты приехал коммуны устраивать. Жизнь всю прежнюю переиначили...

С какой-то тайной грустью говорит Фроловна о прежнем. Как все прежнее волнует ее. Почему? Да ведь то ее молодость, золотистые косы.

— А еще хотела сказать,— шевелит губами старуха,— любил Лев Толстой слушать всякое. Сойдутся мужики у господского дома, присядут в кружок и затеют про то про се. Да вон деды, Квасов и Золотухин, соврать не дадут, их спросите...

Утром Егор Кириллович запрягал мерина, взятого еще с вечера на совхозной конюшне. Мы отправлялись к дедам, на вторую деревню. Солнце уже припекало, препятствовало току сырости с пруда. По двору равнодушно ходили куры. Время от времени на яблоне встряхивался скворец, принимался бить крыльями и квохтать по-куриному, представляя куриную панику. Егор Кириллович швырнул на дрожки соломы. Сидел, поджав под

себя по-татарски ноги, и снова был оживлен. А дрожки все тряслись, все звенели колесной чекой.

— Вон то,— показал он через минуту на приземистое, деревянное зданье,— вон то была школа. Построена для крестьянских детей дочерью Льва Николаевича...

Взобравшись на бугор, проехали полем, въехали во вторую деревню. От колодца, видим, идет старичок.

— Силен, гляжу, ты, полковник, сам еще воду носишь,— здороваается Егор Кириллович и вполголоса мне: — Петрович. К нему и ехали.

— Почему полковник? — спрашиваю и я тихо.

— Да ить как не ходить, коли дело велить,— опускает ведра старик и быстро взглядывает на меня.— У нас в деревне кто коров стережет, тот и полковник. Вчера был мой черед.

Проходим во двор, садимся на лавку.

Весь он — в рыжем своем пиджаке, в диагоналевых галифе, в растоптанных кирзовых сапогах — острый, сухонький, рыжеватый, словно проявленный солнцем. По темной шее разбегается сетка морщинок.

— Человек вот интересуется,— кивает на меня Егор Кириллович,— как ты, по просьбе Толстого, на свадьбе форейтором ездил?

— Ха-ха-а,— живо смеется старик, и светло-зеленые глаза его влажнеют.— Нюшка! — кричит он неожиданно звонко супруге в сторону огорода.— Поди покличь Золотухина!.. Вдвоем будет сподручнее,— поворачивается Петрович ко мне.

— С Левом Толстым,— вздыхает,— как вот с вами встречался. Я ходил тогда уже в женихах. Лев Толстой, говорили, супротив помещиков шел... Нюшка, ты пошла к Золотухину?

— Сичас,— доносится с огорода.

— От дьяволица! — хлопает себя по коленке Петрович.— Не разгонится... Так вот, Лев Толстой все больше с нами вожжался, с крестьянами. Заходил что ни есть в бедную хату. Любил особливо к знахаркам. Была тут одна у нас — Любава Васильевна. Святой водицей лечила. А другая, Ульяна, та слово знала от козюль и от бешенства. Нюшка! — кричит он опять на огород.

— Чего тебя мучит-ломает?! — жена его неожиданно выходит из сенцев и, невозмутимая, плывет мимо нас, через выгон, к золотухинской хате.

— Книжонками снабжал нас, а то сам читал кой-когда. Поди сюда, скажет, Димитрий, послушай, что я тебе почитаю. А потом спросит: ну как, брат, понятно?

С того края выгона движется Золотухин — высокий, степенный, худой. Несет тело ровно и бережно. Присаживается, гладит ладонями серебристо-черную бороду. Говорит он мало, давая выговориться дружку.

— Про свадьбу-то расскажите,— не терпится мне.

— Про свадьбу? — не спешит выпускать главный козырь Петрович.— Это можно.— Наконец начинает: — Давно это было. Еще в женихах я был... Так вот, приехал Толстой к нам сюда, в Кочеты. И вздумалось ему сыграть крестьянскую свадьбу. Не настоящую, а так, посмотреть. И чтоб, так теперь рассуждаю, в книгу. Мы играли свадьбу, а Лев Толстой все записывал...

Закрыв глаза, я слушаю голос Петровича и вижу все это так явственно.

На сей раз Лев Николаевич приехал сюда на целое лето. Скрылся у дочери от домашней опеки, от досадных расспросов Софьи Андреевны о завещании, от всего надоевшего... Отвечая, в парке ржавела сирень. Пахло майской землей. Как все было здесь просто и хорошо. И снова жилось надеждами, и близка была молодость, когда устами Оленина выразил он такие слова:

«Счастье, вот что,— сказал он себе,— счастье в том, чтобы жить для других... В человеке вложена потребность в счастье. Удовлетворяя его эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства славы, удобства жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этому желанию. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие! Любовь, самоотвержение!»

В этих крестьянских избах, на виду перелесков и долов, с прежней властью поднималась в нем потребность исканий, быть единым с людьми, думать их думами, любить их любовью.

В этот приезд, когда на душе было особенно смутно, он хотел видеть народное празднество, общее ликование. Может быть, новым страницам суждено будет стать лучшим из всего, что было писано прежде?

Зашумело игрище в Кочетах, томившихся до покоса в безделии. С женихом трудностей не было, а невесту сыскали не сразу. Наконец, уговорили одну из замужних — Анну, горничную. Послали сватов. Ударили по рукам.

Запестрел луг цветными платками, паневами. На столах — черепняные чашки, деревянные ложки толщиной в детскую руку, из «казенки» бутылки, немудрящая деревенская снедь: холодец с хреном, пшенная каша, вареное мясо, шипучие квасы...

Все ждут свадебный поезд. Десяток крестьянских подвод, украшенных лентами и кумачом, выехал в поле. За околицу. К хлебу. Гремит под дугой колокольчик — «дар Валдая». Первым на своем буланом — приосанившийся Димитрий. Летят мимо Душана Петровича, мимо Льва Николаевича. Встречают от венца мать-отец, про-

вожают к столу молодых. Ни жива, ни мертва сидит Анна в своей жаркой паневе, в золотистом кокошнике. Величальную ей заводит девишник:

У нас ягодка красна,  
Земляничка хороша,  
На пригорочке росла,  
Супротив солнца зрела.  
Ах, кто ж у нас,  
Ах, кто ж у нас разумница?  
Ах, да Аннушка умна,  
Аннушка да разумна...

А за столами — веселье. Звон бутылок да пересмешки. Кто-то с кем-то перебросился словом, кто-то залился краской, кто-то, захмелев, затевает невесте свою величальную:

Конопель ты моя, конопелочка...

На него шикают. Высоко и прозрачно ведут женские голоса величальную жениху:

Летел голубь, летел сизый  
Со голубушкой.  
У голубя да у сизого  
Золотая голова,  
У голубки, у голубки  
Позолоченная.

Наливается силой, плывет молодым величальная, и в такт общей песне начинают качаться ряды — плечо в плечо, плечо в плечо:

У ворот сосеночка зеленая,  
Зеленая сосеночка земляная.  
У Захара жена молодая  
У Яковлевича дорогая...  
Белу свету сына породила,  
Она свекору, свекрови угодила .

Долго еще в уже потемневшее небо, в звезды летят широкие крестьянские хоры, пересмеиваются балалайки, плачут пискуньи-ливленки. Плывут по лугу хороводы. Бежит карандаш по сереющим в сумерках строчкам. Лев Николаевич закрывает записную книжку, довольный — кладет свободную руку за пояс блузы...

— Нюшка песни вам эти сейчас и представит, к-хе, — откашливается Петрович и возвращает меня в сегодняшнее. — Нюшка! Да где же она? — суетится Петрович. — А вон у золотухинской хаты лясы, гляди, с бабами точит. Нюшка-а!

— Сичас, — не спешит отзываться его супруга.

— А вон-он, за хатами, — оживает степенный Золотухин, — лесок Бездонный. Там ложок двухрукавный. Порточки мы называем... Так вот в сенокос Лев Толстой в те Порточки похаживал. Возьмет у кого-либо косу, попробует. Не умеешь косу блюсти — враз поймет. У тебя, говорит, незакладная. У другого возьмет: у тебя хороша. И пройдет несколько строчек. Умел мужицкую работу...

— Нюшка!! — перебивая его, опять суетится Петрович.

— Ну, сичас, сичас, — отвечает супруга с того края выгона. Наконец, приближается к нам. — Чего взмыкался?

— А ты спой человеку песни, какие на свадьбах пела.

— Дак это давно, — ломается Петровичева жена, — это еще при Толстихе, когда она новую школу построила.

— Во-во, — вскидывается Петрович, — новую школу!.. А за то, что фалетором был, Лев Толстой заплатил мне десятку, а жениху пятнадцать, а невесте двадцать пять рублей. А Анну мужик после бросил. Пошло про нее по

деревне: Захарова, дескать, жена да Захарова, сам Толстой венчал. Так и бросил мужик ее. И Захар не женился, бобылем всю жисть прокрутился. Так-то вот. Да... У меня в святом углу патрет Толстого. Смотрит этак сурьезно, ровно святой. А у сына, так у того есть железный столик, за которым Лев Толстой сиживал. Из музея приезжали, просили — не отдал...

— Помрем скоро,— вздыхает Золотухин и трет кулаком сырое приотставшее веко.— Ничего не нужно будет.

— Как это не нужно? — подскакивает Петрович.— Пока живы, все нужно. И стол, и патрет, и Лев Толстой...

Прощаясь с Кочетами, я еще раз пришел к амбару, к обгорелому флигелю, к уютной, вместительной школе. Заглянул в окно: на доске детской нетвердой рукой было написано: «Широка страна моя родная». Со всех трех деревень сюда, в запретный когда-то сад сухотинский, сходились ребятишки — потомки тех, давнишних крестьян. И снова виделось далеко. Дорога была вся в ракетах, струящихся на ветру серебром.

*д. Кочеты*

## СЕДЫЕ ХЛЕБА

Нет в слякоть лучшего ходу от Глазуновки до Старого Горохова, чем по «линии», бывшей «чугунке», по которой в прежние времена пытался вывозить руду из кромской глубинки делец-воротила. Лопнуло, быльем поросло его дело, а вот насыпь осталась, и сквозит она по волнистой хребтине, по которой совершали набеги на Русь еще крымчаки-басурманы, и идешь себе этим путем, бывшей «царевой» дорогой; вольготно ноге на земле, обдуваемой ветром, как бы заговоренной от грязи; отраднo представить, что плеснешь вправо кружку воды — попадет она в окское русло, после в Волгу, в Каспийское море, плеснешь влево — в Тихий Дон, Черное море. И еще отраднo припомнить одно из местных преданий, что именно этой дорогой по пути из Орла на Кавказ проезжал когда-то сам Пушкин...

Ни дымка, ни селения — все в стороне. Лишь ведет и ведет травянистая насыпь — безрельсовая, с гладко срезанными боками, с наметнувшимся сбоку проселком. Где-то там впереди синеют лески, в них — махнул мне прохожий — и Горохово, деревушка, где родился русский писатель Лесков.

Иногда принимается дождь — мелкий, въедливый, знобкий, и лески эти, как в цветомузыке, начинают то блекнуть, то снова густеть, а поля, переспелые, желто-

соломенные, разом становятся сизыми, колос делается седым. И вдруг рядом, в жнивье, вскрикнула птица, разбежалась, подпрыгнула, захлопала крыльями — никак черный дрозд? Вскоре целая стая, крича резко, с надрывом, кружилась над положенной в валки потемневшей куртиной, воровато заходила позади на посадку.

Но вот, наконец, и вблизи перелески. Лесковские. «Линия» уходила дальше, взбиралась куда-то ввысь, где, как у Айвазовского, бушевало вспоенное влагой небо, а проселок, вильнув, опускался в деревню. Из-за бугра торчал, отмечая ферму, карандаш водокачки. А сбоку на проселок наступала обсадка, за нею виднелся сад — старый, выщербленный, должно быть, еще помещичий. Тут же опушался новый.

Проселок переходил в ровную деревенскую улицу. Крепкие дома, телеантенны, высоковольтная линия, старик, проехавший на мотоцикле... Все это высветляло мысли, накладывалось на картины, описанные в лесковской «Юдоли».

На крылечке дома бригады сидели за куревом, за разговорами люди.

— А что, ребята, — сказал я протяжно, рассчитывая на обстоятельный разговор, — нелегкие нынче хлеба?

— Трудные, — подтвердил один из них, взглядывая на часы. — Да и сами подумайте: озимые померзли, сколько пришлось пересеять, а яровые, видите, дождь — не дает убирать... А хлеб-то какой — сила силой! За «линией» ячмень центнеров эдак под тридцать. Да ведь все на хлеба положили. Загремела уборочная — зерно пошло государству, да вот уж пятый день как дожди...

— Ну, а где же управа на канцелярию? — говорю я без иронии. — Не молебен же, как бывало, служить?

— Вон у нас управа, — кивнул говоривший на механизаторский стан, — люди и техника. Техники у нас вся-

кой хватает, а люди... Люди — не терпится — по пять раз в день комбайны заводят. Да вон и Ефим Дробилин — мастер всякой работы. Можно сказать, Левша. Был бы смысл, подковал бы и блоху...

Сравнение это здесь, на лесковской земле, показалось мне небезынтересным, и я энергично приветствовал еще одного гороховца. Пришел бригадир, послал мужиков на конопляник, где женщины брали замашку, и мы с Ефимом остались вдвоем. Я взглянул на него внимательнее: телосложения он был обычного — небольшой, крепко сбитый, с виду около сорока. На лоб надвигалась седоватая щетка волос — плотный «ежик»; крупные губы и рот, глубокие, под черно-густыми бровями глаза, сухой смех и слегка сипловатый голос — все это заставляло видеть в нем человека простого, открытого, обветренного полевыми и житейскими шквалами. Одет он был во фланелевую рубашку, серые хлопчатобумажные штаны, заправленные в кирзовые сапоги, которыми и месил без стеснения местную жирную грязь.

— Все гляжу, где же был дом, в котором родился Лесков, — сказал я Ефиму. — Не в тех ли посадках?

— В них, — ответил мой собеседник медлительно. — Идем покажу.

Мы подошли к бывшей барской усадьбе, стоявшей особняком. По оба крыла ее пустели травянистые копи — остатки прудов. Дорога прорезала подкову из акаций, сирени-«синели», как назвал Дробилин эту непременно спутницу всяких жилищ. Аллеи, сужаясь, сходились к самому центру, где на возвышении глазел некогда окнами двухэтажный деревянный дом. Сколько всяких перебивало тут после того самодура-барина Страхова, мужа тетки Лескова, у которой из милости и жил до поры до времени мальчик — будущий русский писатель.

— Дед Алешка недавно помер, — заговорил глухо-

вато Ефим, — так он во дворе у господ в услужении был, все нам рассказывал... Было вот тут, перед домом, такое местечко, приходили сюда крестьяне на праздник. Выходил барин к народу, швырял им целковый-другой на водку, и те, благодарные, прямым в монопольку... А однажды случился большой недород, и крестьяне пришли к барам не за целковым на водку — за хлебом. Стояли вот так под дождем, а из окон им всякие там пианина. Выходил управляющий немец — и вон, и взащей. А однажды вынес три ковриги под мышкой, ломал и швырял в людей, и смеялся, глядя, как они бросались, падали, увечили друг дружку...

Вот оно какое здесь страшное, лобное место. Говорят, при пожаре железо с крыши летело аж до деревни.

Бугор стыдливо прикрывал бурьяном свое изъязвленное тело: выройки, траншеи, обозначавшие прежний фундамент, зияли сырой пустотой — кирпич был взят на постройки; глиняные черепушки да осколки бурого кирпича — вот и все сувениры — успели зарости глухой крапивой, татарником, пастушьей сумкой и тысячелистником. Над ними панствовали яшеньки и шиповник, вставшие здесь по прихоти ветра. Я искал, угадывал по фундаменту комнатушку, где раздался первый крик ребенка, голос которого потом слышали все. Вотще! Лишь песчаник, торчащий углом, напоминал мне легенду о «диком камне», растущем из земли и за века вырастающем в горы, похожие на обелиски...

Мы прошли дальше по стежке, вторглись в заросли одичавших яблонь, черемухи, липок и кленов, которые еще не успело обдуть после очередного дождевого захода. Ефим наклонился и сорвал подорожник.

— Глухо, однако, захлопнулось, — заметил он, вглядываясь в цветок, в отверстие, ведущее к самой пыльце. И вздохнул: — Ночью, значит, не перемерзит.

Я знал: Ефим все о том же — о погоде, о хлебах, ведь изболелась душа. Я успел уж заметить за ним эту заботу об общем, хозяйскую струнку, точный глаз, обо всем свое крепкое слово. Вот и сейчас, когда по буграм, по откосам прошли мы ветшающим садом да вышли на самый край, к завидневшимся фермам, он сказал с огорчением:

— А землю мы не жалеем. Гляди, где помещик усадьбы-то городил — пустошь горбатую приспособлявал, а нам под бригадный двор подавай лучшую, пахотную землю. А там бы такие хлеба!

Вечерело. Тучи на какое-то время раздвинулись, солнце садилось спокойным и ясным. И сейчас же в зарослях пронзительно закричала сойка: «Р-ррэ--ррэ-рра», хлопнула крыльями, затурлила по-горличьи, а на механизаторском стане чей-то дизель живо рассыпал звонкую дробь.

— Салютуют ребята,— оживился Дробилин.— Сей в ненастье, и убирай в ведра,— переиначил он известную половицу.— Завтра бы после полдника в поле.

Пискнула где-то гармонь — молодежь сходилась в бригадный клуб. Шли у нижнего пруда, отражаясь в воде; и не было теперь у этого пруда прежней чересполосицы — ни господской, ни крестьянской половинок, все теперь было едино, как и эта деревня, и это вот поле, на котором есть где гульнуть, размахнуться колхозной технике. Луг за прудом переходил в плоскую, заросшую всякими травами пойму чистой речушки Рыбницы, где, я знал, вскоре вырастет водохранилище. Там темнела другая деревня, там было правление. В сумерках контур деревьев на горизонте казался средневековым замком: плоские башни, острые пики-шпили...

— Вон то поле,— кивнул Ефим в сторону «замка»,—

мы уже замахнули. На очереди это вот — у «гусятника».

Незаметно, за разговором подошли мы к жилищу Ефима. Дом у него был свежий, ухоженный. Во дворе у березки стоял мотоцикл. Во второй комнате хозяйка с дочерью, приехавшей на каникулы, смотрели по телевизору «Угрюм-реку». Следом за нами к Дробилиным влетела старушка-соседка с известием:

— Марийка, автолавка, гляди, прорвалась — хлебушка привезли, беги!

— Небось,— степенно ответила Марийка, невысокая, смуглая, круглолицая женщина в цветном переднике поверх пиджака.— Хлеб, бабка Груня, нам покудова испечь есть из чего. Да ты садись, посумерничаем.

— Оно и верно,— вздохнула старушка,— у вас все при работе.

— В прошлом году одной пшеницы, уж и не упомнишь, на двоих сколько ссыпали...

— Центнерами, центнерами, Марийка.

— Центнерами... Да вот нынче премию-то мой проморгал, сполз вниз. Ишь, молчит. Это он на работу проворный, а на язык — слова, что твои жернова.

— Господь равняет,— вставила свое бабка Груня,— муж дюже мешковат, зато жена, как шкворень.

Все это Ефим сносил терпеливо, давая им выговориться. Но упоминание о премии, видно, тронуло его. Едва в разговоре появился просвет, он повернулся ко мне:

— А насчет премии...

— Да уж будет, не виноват,— смягчилась Мария,— а то разве простила б? Передовой и вдруг нá.

— Нагоним,— улыбнулся Дробилин.

— Помогал Максиму Гремякину,— совсем уж оттаяв, ласково посмотрела Мария на мужа.— Тот впер-

вой сел на комбайн. Ну и не особенно ладилось. То муфта сгорит, то еще что. А Ефим с ним на одном поле, вот он и к нему — товарищ же. Ну и не вытянул в передовые... Но ничего, Ефимушка, ничего, ты как-нибудь в другой раз, верно?

— Верно, — пробасил растроганный Ефим и повернул к ней загоревшееся лицо: — Да ить сколько раз говорил, давайте в таких условиях напрямую. Так нет — кладут в валки, а ты идешь почти следом и подбираешь.

— Голова ты у нас золотая, — запричитала бабка Груня. — Все-то ты понимаешь.

— А руки? — сказала Мария. — Да уж нет на округу ухватистей рук, чем у него.

— Полно вам, — строго сказал Ефим и вышел в сенцы.

— У них в семье отродясь все такие, — поджала бабка Груня губы. — Что он, что отец был, царство ему небесное. По железу, по дереву — все могут. Такая способность... На механизатора-то он не учился. Повертелся у Мишки Пущая в прицепщиках, сел на трактор да и поехал. А теперь вот спец по всяким машинам. Ну, да теперь, конечно, без них никуда. А как было, когда война только схлынула. Все руками, все на себе, на веревках. Эх, веревки, веревки, плечушки пооборвали!.. Ходили за семенами в райцентр, оттуда с мешками до станции и по «чугунке». Забросим, бывало, мешки на горбяку, а встречные нам: «Вы что, бабы, в парашютистки, что ль, записались?»

Прешь мешок — к земле стелешься, вот-вот сердце хлопнется об дорогу. Но ничего, выдюжили. В первую осень соседи пахали битыми танками — от «дуги» тут остались. А у нас все на бабах. Зерно по невскопанному швыряли. Коноплю из бутылок сеяли, чтоб ровней получалась, а после семена тяпкой заделывали. На другой

год побóлело сил: лопатами поле копали, коров к пахоте приспособили. Вот как хлебушек доставался... Ну, а не было гневней гнева людского, когда, помню, дед один семенами вздумал поджиться. Сграчили его, а он в ответ: вы, говорит, бабы, тихо, вы лектора, дескать, не слушали, а он сказывал, что Маркс и тот взял у этого... Гегеля какое-то там рациональное зерно, а нам, мужичкам, простую пшаничку и подавно можно. А потом Ефимушка сел на трактор, ушел в МТС. Председатели, бывало, технику назахват: к нам и к нам, пожалуйста, Ефим Спиридоныч. И с угощеньцем.

— Да уж развоспоминалась,— пробурчал Ефим.— На сто лет назад поминается.

В редкую минуту с похвалой отзовется русская женщина о своем муженьке, чтоб «не забаловал, не испортился». Но уж коль нападёт настроение да если есть еще чем погордиться, все без утайки выложит свежему человеку. В тот вечер услышал я о Ефиме немало: про то, как воспитывался он в «горяч да пережитищах», доходил до всего своей головой, как работал и бригадиром, и мельником, перемолол людям сотни пудов зерна. Тогда хлеб пекли на поду, мельник был нужнейшим человеком в округе. А сейчас вот — понадобилось — кузнецом на обе бригады. А в уборочную комбайнером. Так вся жизнь его, все его годы были связаны с хлебом...

Наутро, как обычно, чуть свет, механизаторы сходились к дому бригады. Сидели, лениво переговаривались:

— Ить надо, а? Какой нынче август вышел сиротскийй.

— Да уж точно, слезливыйй.

А сами с надеждой глядели на небо и замечали, что оно уже не такое глухое, раздвигаются тучи, после обеда, если все хорошо, можно будет и выезжать. Так и решились: если что — выезжать.

Дробилин шел к кузне через всю деревню своим твердым, уверенным шагом. Позади, выбирая дорогу, тянулся напарник — тощий и длинный старик.

— Ефим Спиридоныч,— шумели из-за плетня,— зашел бы, глянул швейную машину. Гремит, дьяволица, как бубен.

— Ладно. Вечерком на гулянке.

— Ефим Спиридоныч,— встречался через минуту сторож с фермы,— лампа, понимаешь, хандрит.

— Электрик на это...

— Так паяльная лампа-то.

— Ну заноси, поглядим.

Проходит Ефим к своей кузне, отворяет двери, и сейчас же следом народ: одному помощи укрепить «пальцы» в гусенице — ехать пахать под зябь, другому сделай на телегу оглобли — возить семенной материал... Дело хлебное, не отложишь. Включает Ефим рубильник, жарко вздувает горн, а сам нет-нет да и взглянет в дверь, на пшеничное поле, что у «гусятника». По нему, загораясь, все чаще, перебегают пятна — солнечные, ярко соломенные. Ефим веселее начинает стучать по наковальне.

После обеда комбайны тронулись, пошли за околицу. Ефим снова в паре с Гремякиным повели комбайны свои по хлебам напрямую, полями на черных дроздов.

Хлеба... Они седые не только в дожди и туманы — седые от времени, от веков. Они — корень жизни и нашей, и наших отцов, и пращуров наших, недаром у ржи еще и такое название — жито. О хлебе все думы, все хлопоты жизни крестьянской, и все воздается сторицей. И нам удивительно, что эти лесковские земли страдали когда-то бесхлебицей, пускали по свету здешних крестьян с холщовой сумой.

*д. Старое Горохово*

## ОЛЬГОВИЧИ

### 1

У большака, на фоне синеющего леса, стоял полосатый столб, на котором сверху вниз крупно было написано: «Льгов». Отсюда просматривалось все село. Немудреный пейзаж всплывал в памяти, словно старая фотография: так знаком он по тургеневским «Запискам охотника».

Восьмилетняя школа, куда я зашел, оказалась новой, недавно построенной, вполне вместительной, хотя и одноэтажной. В коридоре, задержавшись у многочисленных литературных стендов, я не мог не отметить той тщательности и той любви, с которой они были выполнены. В центре одного из них выделялся карандашный рисунок на простой грубой бумаге. Под сильным лицом с шишковатым лбом стояло: «Федот Хорев, правнук тургеневского Хоря».

— Откуда это? — спросил я.

— Студенты подарили. Были тут летом из пединститута. Ездил с ними в Хоревку, показывал лесную дорогу.

Шагаем садом. Разговор с местным учителем Лавриным идет мягко и ладно. Лаврин вот уже четверть века здесь в школе. Учит ребят понимать говор леса и поля, учит российской словесности, создал даже кружок стихотворцев, выпускает с ребятами рукописный альманах...

— И что же, вышел кто-нибудь из ваших в поэты?

— В поэты? — вздыхает Геннадий Сергеевич.— Талант — редкий дар. А вот дух поэзия поднимает... Да, поднимает!

— Сами пишете? — почувствовал я недосказанность.

— Пишу,— признается Геннадий Сергеевич.— Пишу — и в сундук... Для себя хорошо, а для людей надо писать лучше.

Все вокруг было монотонным, серовато-зеленым: и поля осенние, и ивняк, и сосновый бор по-за речкою Вытебетью; природа выдерживала свой размер, свой гекзаметр, бросив пониже, по руслу, свой ударный слог — березнячок, полыхающий золотом.

— Там,— повел Лаврин рукой,— большая излучина. По левую руку — знаменитые наши болота, а по правую — древнее селище. Мы частенько туда с ребятами ходим. Попадаются костяные сверла и наконечники, каменные молоты и топоры...

Волнами погнало едкую изморось.

— И мглой волнистою покрыты небеса,— прячась в воротник, процитировал спутник мой. Я уже заметил за ним эту особенность — говорить стихами. Да не забыта была им и проза, особенно же тургеневская, в чем я успел убедиться, когда мы вступили во Льгов и Лаврин отметил это известными словами из «Записок охотника»:— «Льгов — большое степное село с весьма древней одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке...»

Подивившись на его недюжинную память, я занялся осмотром места, с которого начали мы свою экскурсию.

Мы стояли на невысоком холме, некогда обнесенном каменной стенкой. В сглаженном времени травянистом покрове кое-где намечались взбугренности — забытые всеми могилы, где когда-то хоронили «белую кость», местных купцов, духовенство, крестьян из зажиточных.

«Черную кость» предавали земле несколько дальше, уже за околицей. Не отказав себе в удовольствии прочитать заключительные строки романа «Отцы и дети» о бедном сельском погосте, Лаврин повел меня дальше. Спустившись с холма, мы прошли мимо амбара Азбукиных, когда-то премевших на всю округу братьев-булочников, встретили подле него бричку, на бричке сидела женщина.

— Да вот и она,— успел шепнуть мне Геннадий Сергеевич,— бригадирша полеводческой бригады Нина Ивановна Волкова, родственница тургеневского Сучка.

Я рассматривал ее с интересом. Росту она была небольшого, но крепкая, с лицом темным, словно дубленным на воздухе. Из-под платка выбивалась прядка волос цвета овсяной соломы. В шерстяном темно-синем плаще, в сапогах, она казалась немолодой и тяжелой. После пары весьма незначительных фраз бригадирша поспешила в поле, мы же спустились ниже, к плотине, подпиравшей полуколыцом бывший пруд, знаменитый тем, что Тургенев-охотник принимал в нем с Сучком холодные ванны. Теперь до самого горизонта здесь простирается пойменный луг, заросший травой и окаймленный справа задумчивым бором, слева — подступившими огородами, где и стояла изба Сучка. В плотине, изогнувшейся насыпной грядой, гремел некогда сток. Сейчас напоминанием о нем служат сваи, торчащие зубьями из осоки. За плотиной — омут-бучило, черный до синевы, дурно пахнущий от замоченной конопли, как и всякие омуты, видно, пользующийся не очень хорошей славой.

— Лет двадцать тому была тут ГЭС местного значения,— поясняет мне Лаврин.— Потом ток стали давать Белые Берега, и пруд наш забросили.

Договорившись о встрече, мы расстались с учителем.

На удивление, речка оказалась небольшой, но полноводной, не по-болотному чистой. Вода перекатывалась через остатки замшелых шлюзов: дубовые клетки создавали местами тихие заводи, подернутые тиной и ряской, но самая середина протоки была быстроходной и, ниспадая, шумела, гремела, как ей и положено, напоминала о времени, о том, что каких-нибудь сто лет назад совсем иные люди смотрели в эту протоку. Какие чувства и мысли рождали в них струи? Сколько воды утекло...

— Смотрите, смотрите! — услышал я где-то внизу за плотиной юный восторженный голос. — Чирки летят! Раз... два... три...

— К себе на кочарник, — заметил солидно другой мальчишеский голос.

— Гляди, гляди, — коршун! — вновь закричал первый голос.

Я нагнулся и внизу под плотиной увидел мальчишек. Их было четверо — троим из них лет по двенадцати, четвертый еще дошколенок. Задржав головы, они следили за тем, как, отстав от уток, словно и не имея дурных намерений, парил в небе, ходил по кругу коршун. Успокоившись, мальчишки вновь присели на разбросанные жернова, видать еще тех, притургеневских мельниц, и продолжили свой разговор. Рядом млел костерок, мирно ходили коровы.

— Петьк, а Лаврин на днях затевает поход на болота, пойдем? — предложил обладатель солидного голоса — кубастенький, лупастый, ушастый, похожий на молодого совенка.

— А на селище? — спросил его тонкий, мечтательный Петька. — Я на селище собрался... В тот раз нашли каменный молот. Лаврин говорит, в наших краях — по вер-

ховьям Оки и Дона — жило восточнославянское племя вятичей. Занимались они земледелием...

— И охота тебе с черепками возиться? Вот я о чем думаю: запишусь-ка в кружок на тракториста... на центральной, а то укачу в профтехучилище...

— С техникой, конечно, тоже надо уметь,— соглашался Петька.— Лаврин говорит, земля — штука тонкая.

— Петь, а Петь, а почему она тонкая? — дергал его за полу фуфайки самый младший член ребячьей компании.— Почему она тонкая? Ну, почему?

— На́ вот тебе хворостину,— наконец, обратил на него внимание парнишка, не вступавший дотоле в беседу,— и дуй, отгони коров во-он от стожка... А я на лето с батей опять коров стеречь буду,— повернулся он к Петьке и оттопырил для важности нижнюю губу.— Ко мне уже из правления приходили: «Семен Митрофанч, как бы теляток, коровок на то лето опять постеречь?» Пожалуйста. Сколько, говорю, кинете на харчи? Дело нелегкое... Нас с Тимофеем Спиридонычем летось одна коровка замучила. И зыкает, и зыкает. Так мы морду ей коровяком. Стала как вкопанная, хе-хе. Уметь надо...

— Чего уметь-то, зоотехник заклапаный! — рассердился вдруг Петька.— А еще в институт собираешься...

— ...Сейчас еще ничего, стеречь можно,— будто не слыша Петькиных слов, продолжал Семен Митрофанч.— А вот когда овсы колосятся, вот зыкают — страсть! Наморишься за день, рад месту... Тяжело тоже, когда соль, карбамид задаешь. А вот с овцами в жару ничего. Собьются в кучку, стоят себе. Помню, овец я стерег, так меня один баран невзлюбил...

— На барана какая обида? — вставил Петька.

— ..подкрался и р-раз, хотел сзади треснуть, а я обернулся. Он мне рогом в карман...

— Это что! — прервал Семена кубастенький. — А вот у Ваньки Чижа... Дошла до него по деревне очередь, погнал он стадо в луга, а козел один вреднящий, все домой норовит. Озлился Ванька, догнал его и давай рога крутить. Крутанул — так один рог и отвинтил. Испугался Иван, надел рог обратно козлу, а тот, дурак, возьми, и потеряй. Вечером бабка к Ивану: «Ты, родимец тебя забери, стеречь стереги, а рога не откручивай. Куда рог от козла мово дел?» — «Так ты у него, бабк, и спрашивай, куда это он рог свой определил». — «Должно, уж кто пустил на пребешки». — «Теперь, бабк, все химическое»...

Заинтересовавшись предстоящим походом и видя, что разговор забирает в сторону, я решил объявиться и спустился к ребятам с плотины. Они не удивились мне, освободили местечко на мельничном жернове, затихли, глядя в трепещущий огонек. Вдоль плотины маслился грязью проселок, взбирался на узкий мосток и, оставляя правее хутор, исчезал в бору.

— Куда он? — спросил я.

— А в Калужскую область, — живо ответил мне Петька. — Этой дорогой мы ездили с Лавриным к Хорю. Говорят, тем же путем ездил туда и Тургенев...

Кубастенький привстал, глянул ввысь и, поеживаясь, обернулся к нам:

— Снега б, однако, ночью не натянуло.

— Не рановато?

— А ветер, гляди, переменялся — засеверило. И облака поднялись.

## 2

На взгляд до соседней деревни два километра. Но, чтобы добраться до нее, надо иной раз крутить все пятнадцать. В топах работают экскаваторы, ведут ка-

налы в самые глубины болот. Сегодня Володька Богатырев нарезает канал стержневой, магистральный, который здесь словно проспект. Вольно ходит стрела с ковшом, вертится на платформе кабина. Поворот налево — сверкающими зубьями ковш врезается в рыхлую, серую, торфянистую землю. Заработала подъемная лебедка, потащила ковш вверх, а в нем как-никак полкуба земли, а из земли торчат будылья конского щавеля, свешиваются пожухлые кисти травы.

— Лебеда,— успевает отметить Володька и вдруг приостанавливается, пораженный сходством в звучании слов:— Лебеда-лебедка... Лебеда-лебедка! — кричит он, заглушая работу мотора.

— Ты чего?! — бежит к нему напарник Овалов, утлая в мягкой земле.— Чего ты?

— Лебеда-лебедка! — запекает он и раскачивается всем телом.— Лебеда-лебедка-а-а!! — крутит он рычаги управления. Переходит на канал-осушитель. Мотает острозубым ковшом слева направо, справа налево. Лебедка тяговая, лебедка подъемная. Справа растет, удлиняется гряда рыхлой земли, слева прорезается узкий канал. На дне отстаивается застоялая, болотная вода и, собираясь в ручей, бежит дальше, к магистральному каналу, весело и проворно.

Вечереет. Володька глушит мотор, и тогда становится слышной стеклянная тишина. Где-то в сухих камышах забила крылом крупная болотная птица да с металлическим голосом пронесся на бредущем, видно, в поисках ночлега, десяток перелетных гусей. И опять тишина — прозрачная, как эти стоячие воды.

Раздевшись до пояса, крупными горстями механизаторы смывают с тела дневную усталость; уткнувшись носом в ладони, блаженно пьют холодную влагу. Пора и в село, на ночевку. Нырять головами меж насыпей

осушительных каналов, навстречу им движется цепочка ребят. Подходят, кивают приветливо.

— Лаврин,— представляется Геннадий Сергеевич Богатыреву,— здешний учитель... Интересуемся вашей работой.

Ребята присаживаются на рюкзаки, среди них Петька и тот, кубастенький, похожий на молодого совенка.

— Дело ваше, конечно, хорошее,— начинает издали Геннадий Сергеевич,— земли отбирать у стихии. Да не все ладно-гладко у вас получается. Прогнали вон из того клина воду, ни болота теперь, ни поля — мертвый кочкарник. Чистили Навлю в соседнем районе, а где теперь Навля? Сделали каналом шириною в шесть метров, глубиной — воробью по колено.

Лаврин подает Володьке книжонку.

— «Е. Пракудин-Горский. Поездка в Карачевские болота»,— читает тот с интересом название.— В августе 1866 года страсть к охоте доставила мне приятный случай совершить поездку за пятьсот верст, к одному моему доброму знакомому, Николаю Васильевичу Киревскому в Орловскую губернию, Карачевский уезд; там существует его усадьба, сельцо Шаблыкино, куда я имел намерение съездить пострелять, на время осеннего пролета... Одно меня тревожит, все болота высохли! Ноги не замочишь!.. Шутка ли прокатиться четыреста верст, чтобы найти несколько пар дупелей в таких болотах, в которых... когда-то бивали сотни».

— Ну и что? — говорит, оторвавшись от страницы, Владимир.— Когда это было? Более ста лет назад — август 1866-го! Ракитная, черносошная, лапотная Россия... Теперь дошел черед и до этих болот. И что сетовать: осаждали кое-где Навлю... Осадили! Зато веснами не будет разливов на километры, бросовой не будет земли.

— Ну, а мы-то за что,— возражает Лаврин, и ре-

бятя кивают, поддерживают,— мы за то, чтобы по-настоящему землю улучшать-благородить.

— Спусти́те воду — понизится уровень грунтовых вод,— встревает Петька.

— Да вы кто тут такие?! — раздражается вдруг парник Богатырева Овалов.— Туристы!

— Какие же мы туристы. Мы местные. Ольговичи мы, хозяева...

И опять тишина. Лишь журчит вода в магистральном канале. Задумался Лаврин, ребята, механизаторы. В самом деле, что получится с урожаем на ближнем поле, если вслед за болотом опустятся или уйдут вовсе грунтовые воды? Осушат вокруг все болота, уменьшится испарение, реже станут дожди. Вон ведь как собираются делать в Мещере: поставить подпруды, выбрать из болот нужные земли, превратить их в сады. Мы в ответе перед поколениями, перед будущим за то, чем станет земля через десять, двадцать, семьдесят лет, за то, что совершаем сегодня.

Появляется мастер, приносит механизаторам всякие новости. Между прочим, сообщает, что вскоре переезжать обратно на Навлю, исправлять прежние промахи.

— А это кто ж такие? — кивает он на ребячий отряд.

— Ольговичи,— басит, улыбаясь, Владимир.— Хозяева здешние.

### 3

Коротки средней осенью сумерки. Как-то сразу пала плотная ночь. Из нее неожиданно возникла изба — лавринская обитель. Во дворе я успел заметить присевший сарайчик, несколько жидких раки́т.

Шагнули через переднюю и очутились в главной

комнате. Она была очень светлой, что подтверждало не только обилие окон, но и существование книжного шкафа, репродукций с картин и портретов писателей. На столе в беспорядке лежали газеты, журналы, тетради. Пахло увядающим деревом: струганные, коричневые от времени переборки, коричневый потолок с оклеенными бумагой пазами, вытертый пол...

Без пальто Лаврин казался моложе, на вид под пятьдесят. Волосы были прямые и темные, чуть засвечены на висках, лицо узкое и живое. На носу возлежали очки, придавая владельцу их мирное, даже кроткое выражение.

— Ну что? — сказал хозяин с мягкой улыбкой, — будем пить чай?

За окном гудели деревья, скреблись о стекло беспокойные ветви. С минуту Геннадий Сергеевич к чему-то прислушивался и, откашлявшись, начал:

Гляжу ль на дуб уединенный,  
Я мыслю: патриарх лесов  
Переживет мой век забвенный,  
Как пережил он век отцов.

Читал он тихо, протяжно, словно бы пел, весь отдаваясь и ритму, и чувству, заключенному в словах. Весь он был какой-то другой — тихий, ровный, покладистый, совсем не такой, как там сегодня, на болотах.

— Вы знаете, — вдруг перешел он на прозу, — когда умирал Пушкин, к нему, на Мойку, 12, пришел Иван Сергеевич Тургенев. Он незаметно отрезал пушкинский локон и положил к себе в медальон, носил всю свою жизнь... Вот, — сказал Геннадий Сергеевич, — подавая альбом. — Вот, смотрите.

Передо мной был обычный любительский снимок:

Волково кладбище, могила Тургенева. Такая же осень бросала на черный камень мокрые листья...

Приемник доносил с подоконника тонкую, чистую музыку. Под грусть ее Лаврин рассказывал о литературных местах, которые посетил и с которыми еще ожидается встреча, об увиденных им городах. А музыка все лилась от окна, словно с полей просилась от стужи сюда к нам — вековая, русская. Вспоминалось о крестьянском корне его — в соседнем Карпукхине пашут Лаврины землю; вспоминался тургеневский Сучок — бесправный, забитый крестьянин, перебивавший по причуде господ с десятков ремесел, вспомнилось все и подумалось: а ведь Лаврину наши дни дали профессию, и вся его жизнь, все мысли его устремлены к одному: с детства делать человека возвышенной, чище...

Странное чувство рождалось в этой светлице. Я представлял: вот и завтра войдет он в свой класс, привычно поправит очки, хитровато прищурится: «А название какого рассказа из «Записок охотника» вызывает в памяти сам вид нашей местности?» — и, услышав ответ: «Лес и степь», — улыбнется, довольный.

Так вот он и живет: бродит с ребяташками по древним селищам, пропадает в поймах рек иль в бору — учит детишек понимать говор поля и леса, легендам, поэзии, слову — многому учит. А мальчишки, девчонки уходят в инженеры, в рабочие, в летчики. Но в какую бы высь ни поднялись, помнят мать-землю, родину-разнотравную, мягкую, теплую. И учителя помнят...

Утром я проснулся от света: склонившись, Лаврин сидел над тетрадами. Вышли на улицу. Под ногами прихрустывал снег.

Ранний воздух был густ, знобок жесткою синью. Солнце уже просыпалось, подсвечивая красноватостью тучи, отчего и белокирпичная школа и избы слегка

розовели. Обдумывая свое житье, на «золотом петушке»-флюгере сидела сонная галка.

Льгов расставался с ночью. Заскрипел колодезный журавль. В избе, на Сучковском месте, затопили соломой русскую печь, и жаркое пламя заплясало в окне. Село — крепкое, рубленое из кругляка, крытое матово-серой щепой — тянулось навстречу единственной улицей.

На околице, где Тургенев оставлял перед охотой кучера Иегудиила, я задержался. От села Девять Дубов, где, по былине, Илья Муромец одолел Соловья-разбойника, петляла сюда кочковатой равниной похудевшая речка Вытебеть. Сбоку хмурился бор. Где-то там со своей техникой был Владимир Богатырев.

Полевая дорога уводила в снега. Передо мной, насколько хватало взгляда, простиралась широкая степь.

*с. Льгов*

## СОЛЬВЕЙГ

Зима была уже на исходе, в полях истончались снега. В такие дни небольшой степной городок Тополинск обтаивал, оживлялся; все чаще на улицах появлялся с этюдником учитель Алексей Сергеевич Гладковский. Стоял под капелью; мысленно услышав в себе знакомую мелодию, представлял Сольвейг в мраморе — материале столетий и чувствовал себя древним греком, могущим ее создать, выточить в камне.

В один из дней поехал в областной центр, зашел в худфонд.

— Впервые по мрамору? — удивились в худфонде и, хотя камень выписали, улыбнулись загадочно, посоветовали пользоваться «копир-машиной», вспомнили о чужих неудачах.

...Он встретился с ней еще в сорок втором. Под Сталинградом. После тяжелых боев их танковую часть отвели во второй эшелон. Под вечер экипажи набились в землянку. Сидели у печурки усталые, тихие, недосчитавшись друзей. Вошел капитан Гарин, поставил на ящик из-под снарядов старенький патефон. Опустил на пластинку мембрану — сквозь шипенье пробилась мелодия, нежная, трепетная, как пламя свечи. Пел женский голос:

Пусть радость и счастье  
Тебя озарит,  
Верна я останусь...

Дрогнули обгорелые веки у Николая-радиста, кто-то тайно вздохнул. Алексей прикрыл на минуту ресницы: она шла к нему, его Сольвейг,— простоволосая, русая, чуть скуластая девушка, какие не редкость в орловских степях. Молчали ребята: у каждого где-то была жена или девушка, и эта песня, этот голос звучали признанием в верности. Как могли, берегли в батальоне пластинку, да не уберегли: сгорел командир вместе с пластинкой в оплавленном танке на Орловско-Курской дуге...

В свой городок, лежавший в пекле этой дуги, Алексей возвращался уже после войны. Уставшую душу тянуло к какой-нибудь тихой, «нежелезной» профессии. Пришел в школу учителем. Иногда брал с собою ребят на «пленэр». Любили местечко Беленькое — ручей, крутолобый бугор, где дышалось легко и где легко размышлялось. И встарь ведь жили не бесталанно: узрел мужичонко, труся из города на пегашке, как теплеет, высветляется после пурги длинный южный бугор, да так и нарек его Беленьким.

Все так же за этим бугром тополилось Костюрино — деревушка, куда посылал письма Тургенев, где жил некогда прототип его Рудина. А зимник вился дальше и дальше — на Хмелевое, там, в бывшей тургеневской вотчине, и родился он, Алешка... Учитель забылся на миг, представив вдруг тропки-стежки свои и лесок, шумевший прямо за огородом, и свою родословную, уводящую к хмелевским крепостным, к деду, знаменитому тем, что хребтом своим пробился к учению. Бывало, зимой, на гулянке, открывал дед таинственный сунду-

чок — извлекал со дна книжки, альбомы, где на плотной бумаге желтели рисунки.

— Видал? — притишал голос дед.— Афродита! Богиня красоты... Красота — она есть красота. Красота спасет мир... Э, да что ты понимаешь, малец!

Дед запихивал рисунки обратно, а Алешка уходил за сарай, наблюдал, как заходящее солнце затухает в снегах...

— Красота спасет мир,— повторял он, когда брался за кисть. Оживали под кистью лога и левады, волноειполя. В них все было тонко, все акварельно. А руки просили чего-то большого, огромного, чтобы мир весь объять, все смягчить красотой, чтоб дух захватило. Он попробовал лепить — получилось. Одна скульптура, другая... А теперь кто в Тополинске не знает его — человека уже седоватого, плотного, как говорят, широкой кости?

Он — в шестом, на уроке, объясняет тени и полутени, учит, как искать с данной точки форму и композицию, а потом, когда все уткнутся в бумагу, остановится за спиной у Зимина Коли и, следя, как встает, возникает в беглых штрихах у мальчонки «натура», подбреет, поглядит за окно на холмистую степь и начнет в четверть голоса рассказывать о преданиях местных, о том, что именно тут в прошлом веке, в этом богоспасаемом месте, Пушкина, едущего на Кавказ, приняли за ревизора. О родоначальнике русской исторической живописи академике Шварце, родившемся в ближнем селе Белый Колодезь и писавшем со здешней природы. О советском художнике, тоже их земляке, Николае Ивановиче Струнникове, картины которого «вот поедем в Москву на каникулах, поглядим в Третьяковке». А когда зазвенит звонок, подойдет к Коле Зимину, скажет:

— Приходи на кружок. Будем вместе. Придешь?

Кто придет, тот уже насовсем. Будут вместе мять

пластилин, вместе ходить на этюды, открывать и любить — тоже вместе — свою чистую, светлую землю...

Заезжал недавно художник Смекаев. Бродили по Тополинску. Жизнь тиха и тягуча в нем, как воды Сосны. Но заметны и перемены: пущен новый завод, зажглась телевышка, асфальтируются улицы. Когда делается что-то не так, Алексей Сергеевич мучится, переживает, а решившись, спешит со своим предложением в органы власти; и прислушиваются, соглашаются — знают: вряд ли есть здесь еще человек, кто, пройдя всюду с этюдником, знает, любит так свой городок.

Его домик всем от мала до велика известен в округе. Все здесь сделал один человек: и филенчатые двери с узором («как в Зимнем»), и этюды акварелью и маслом, висящие на стенах «салона», как шутливо называют здесь главную комнату. И, конечно, скульптуры. В Тополинске, где нет галереи, музея, учитель людям просто необходим. Глубоко раздумчив Тургенев, лиричен Есенин, полна невыразимой печали девушка в композиции «Не пришел». Каким криком взметнулся газовый шарф у Анны Карениной перед ее решающим шагом! Зато как лукав «Балалаечник» — первый парень на деревне, из которого так и брызжет насмешница-песня. А вот, наконец, и она, его «Сольвейг»...

После того мартовского воскресенья, когда она вообразилась вдруг в мраморе, он больше не знал покоя. Пришел как-то вечером к другу, тоже учителю.

— Вот,— хитро прищурившись, поставил тот пластинку на диск проигрывателя.— Только что привез из Москвы.

Упали первые звуки — Гладковский вздрогнул, узнав ее, свою Сольвейг, нежную, трепетную, как пламя свечи.

Быть может, зима и весна промелькнет,  
И ясное лето, и снова весь год.

Но когда-нибудь, знаю, придешь ты сюда.  
Все жду тебя...

Закрыв глаза, слушал он музыку, и вновь вспоминалась землянка, старенький патефон, капитан Гарин, которого ждут, как и Пера, всю жизнь... За окном поскрипывали свежим снегом прохожие — ему казалось, что он, Алешка, в далекой Норвегии — стране узких фиордов и неярких цветов, в маленьком городке — холмистом Трольдхаузене, где провел свои лучшие годы Григ, и что это спешат к нему в запорошенный домик под елями герои великого норвежца: суровые викинги, добрые феи, косматые гномы и, наконец, — Сольвейг.

К ней стремились тогда, в сорок четвертом, ребята-десантники и вместе со всеми он, юный Алешка, когда врывались под свинцовыми шквалами в бухту, бросались по горло во льдистую воду с автоматами над головой. И падали ниц, как падают осенние листья — пламенем на серые скалы. Зато все же сбросили немцев со скал! И вот уж ребятам из десанта — оставшимся — к их восемнадцати еще по тридцать. Только тем, кого нет, всегда восемнадцать. Лежат, полыхают на скалах сердцами, словно осенние листья, и ждут их в России такие же Сольвейг, все ждут...

Дни и ночи сплошной лихорадки — и вот она в гипсе. И хотя, кажется, найден характер, да что мертвый гипс! В нем была недосказанность, скованность, непонятный северный холод.

Начал переводить в мрамор — ни копировальной машины, ни опыта. Глаз да рука. Уставал, порою отчаивался и тогда отправлялся на улицу, к людям.

— Ну, как? — встречали его соседи, школьники, просто знакомые.

— Работаю,— отвечал он уклончиво, а на душе почему-то светлело.

Он рубил камень в персональных своих мастерских — в полутемном сарае и, когда, завершив, перенес скульптуру домой да поставил на свет,— остановился, изумленный: его Сольвейг жила! Просвечиваясь, жизнью теплился камень. Белоснежная, чистая Сольвейг ждала любимого Пера, окаменев от веков. Приходили из школы мальчишки, трогали осторожно.

— Теплый,— говорили и уходили, довольные.

Он отвез ее, жившую в камне, в Москву. И в ту осень, когда на родине великого Грига отмечали юбилей освобождения, туда отправилась Сольвейг — вдохновенье солдата-учителя, напоминанье о тысячах павших, которых уже, как и Гарина, не дождутся любимые.

*г. Малоархангельск*

## ЛЕКСЕИЧ

Старики рассказывают, за огородами у нас шумели леса. А за этими лесами были еще леса. И так далеко-далеко, в нескончаемость. А теперь за огородами поле. А за полем еще поле. И только где-то далеко-далеко на буграх синее дубовая роща. В ней и курортничает в хвое поселок — усадьба полустепного лесхоза и живет известный всей округе лесник — Лексеич. Наслышавшись о нем, о его любви к лесу, о том, что в его обходе, пожалуй, лучшие из всего лесхоза посадки, что с его участка ворон и прута не утянет, я, право, представлял его человеком недюжинного роста и непременно с лепешками переспелого мха вместо бровей — этаким моховиком. А вошел человек невысокий, но весь какой-то цепкий, подтянутый, в глубоких глазах прячется крепкий ум. Таких — замечал я — немало в здешних деревнях и поселках. А и вправду, родом Лексеич из соседней Ясной Поляны. Там — не найти от какого колена — и теряется в прошлом исток его крестьянского рода. Еще его дед, когда жил под баринном, вздумавшим однажды, после поездки к просвещенным господам в знаменитое Моховое, насадить лес в усадьбе своей на манер Шестаковского парка, бывало, ходил за лошадкой, нажимая холстинную грудью на затертую соху, — сеял лес: бросал в бо-

розду желуди, семена липы, сосны, березы и ели. А теперь, ишь, какие красавцы — эти посадки, возвращенные нелегким крестьянским трудом...

Попал я сюда удачно — в самое начало весны. Воздух был сыроват, по-мартовски чист, словно стеклянный. Медные груди столетних сосен смотрелись удивительно явственно. Старый снег присел, сделался настом, и разбросанная по нему, видимо, дятлами, сосновая чешуя говорила о том, что метели давно уже не было и, думалось, вряд ли будет. На шиферных коньках егозили синички, санный след облепили ершистые воробьи. На сосне гаркнула крупная птица.

— Грач, однако, — кивнул головою довольный Лексеич. — А намедни потеха была: зимовавшие, гляжу, всполошились, начали справлять прошлогодние гнезда. А потом поднялись да за лес — возвратились назад с перелетными. Хлебом-солью своих, значит, встречали...

— А почему они зимовали?

— Слабы крылом к осени оказались. Вот и вертелись всю зиму то возле «Заготзерна», то возле жилья. Всякая живность в холод к человеку тулится. К хлебу.

Мы идем тенистым поселком. По тому, как мягко ставит ногу Лексеич, как с прищуром оглядывает березы и сосны, говорит о них ладно и знающе, в нем угадывается хозяин всех этих угодий. Вот контора лесхоза. Вот финские дома для рабочих. Рупор несет со столба зычный голос, он летит по поселку, пропадает в ореховых балках; дубы в ответ шелестят прошлогодней листвою. И потому лес кажется смиренным, прирученным, и нет в нем хмури и первозданности, как в брянских лесах; за белоствольной березой здесь так и чувствуешь поле, простор и воздух; да и в самом Лексеиче, приглядевшись, улавливаешь что-то от пахаря, что-то крестьянское, не такое уж и удаленное от земли

и от хлеба, что примечалось мной в брянских лесниках-моховиках.

У Алексеича трудный обход: леса немного, но урочища друг от друга в семи-восьми километрах с подходящими именами — Дуброва, Волчий Шлях, с прилепившимися к ним поселками и деревнями. Раньше я почему-то думал, что лесник для того и приставлен к лесу, чтоб охранять его от самовольных порубок. Может, потому думал, что детство мое проходило в лихие послевоенные годы, когда каждая палка в крестьянском дворе была дороже всякого золота; и взять-то ее было негде, а топить хату надо, строиться тоже надо...

Сумерки навалились сразу. А тут еще по щекам закосила крупа. Алексеич глубже угнул шею в воротник форменной шинели; пахло дымом, и хотя лесхозовская лошаденка едва трусила, все равно скоро можно было рассчитывать на местечко у натопленной печи. Вдруг он заметил на свежем следу темную порошь: сосновое корье, иглы. Может, ветром принесло с ближней опушки? Так нет же, ветра сегодня не было. А вчера не было темной пороши. Значит, кто-то недавно провез сосновую плаху. Но кто же? Алексеич начал прикидывать, кто из здешних имеет доступ к лошадям, перебрал всех конюхов, всех возчиков молока.

Сердце Алексеича екнуло, когда увидел на следу еловую ветвь. Загорелось все тело. Хлестнул вожжою Зайчонка — полозья дзынькнули, замелькали дома и хаты. На самом выезде из деревни засек Алексеич метнувшихся в поле. И мчался за тенью по оврагам, по кочкам, не замечая, что сумерки легли на землю уж плотно, что сани уводят его от деревни все глуше и глуше в лес.

Лексеич взял в руки кнут и двинулся к ним. Он сразу узнал их. Всех троих. Хмельны, глаза от самогона на выкате.

— Ну, чего прешь? — ослабился ближний. — Не вишь — елки. Внучку ублажить.

— Ордер предъявите! А что это, под елкой?

— Слушай, Алексеич! Давай по любви.

— Составим акт и...

— Горяч больно! Да ты только мигни — в галифе, в эти... в шубы оденем. А то валенки, хе-хе, сто раз подшитые.

— А ну, скидывай плаху.

— Значит, жить надоело?! — наступали все трое. — А ну, Денис, пропиши ему смертную.

В руках у Дениса появилось ружье. Поплыло вверх, под самое сердце. Кровь бросилась Алексеичу в голову.

— На, бей! — рванул он ворот рубахи и шагнул на черный зрачок. — Стреляй, сволочь!!

Денис попятился, ветка под левой ногой, хрустнув, просела, отчего ружье дернуло вверх, выстрел рванулся в небо. Прыжок — и Алексеич сидел на стрелявшем...

Это произошло давно, когда Аленушка — дочка — еще не ходила в школу.

— Да и не одно у меня дело — охрана, — приостанавливается Алексеич и загибает палец за пальцем. — А чистка? А посадка? А гнуть дуги и сани? А метлу вязать? А опытный участок?.. Надо, однако, спешить. Нынче пыль, метель будет — ишь, галки наземь кидаются... Ну, а порубки теперь все реже. Друзья у леса по деревьям завелись. И сам лес не молчит. Зимой по снегу все читай, как по книге, летом тоже следы. Бывает, промяла колею подвода в самую чашу, а зачем промяла? Или кроны ближних деревьев прижаты, а середка меж ними пустует: где дерево? Срежут под комель, упрячут неклеименный пенышек в землю, прикроют кочкой, а на весну все равно видно: попрут из пня побеги, раскроют следы преступления...

Лексеич ведет меня вглубь, туда, где идет чистка леса. Утром с топорами и пилами прошли на делянку рабочие. И мы теперь шагаем за ними по глубокому снегу. След в след. Уже не слышать поселкового радио. У березок, выдавшихся в просеку легким уступом, Лексеич приостанавливается. Только что улыбавшееся лицо его делается серьезным, почти суровым. Он решительно сворачивает к березкам, бредет, утопая по пояс. До снежного холмика.

— Вот,— говорит Лексеич, снимая шапку.— Вот здесь лежит он. Герой. Летчик Никитин. А вон, видишь, яма? Его «ИЛ» выбухал в сорок третьем. Девятого мая все фронтовики поселка сюда собираются...

Вижу я у изголовья могилы почти занесенную снегом воронку, из воронки поднимающуюся березу, а на нижних сучьях свежие ветки вербы, облитые желтыми шариками, словно первые весенние цветы. Как попали они на лесную могилу? Вижу я, когда возвращаемся, припорошенные следы. Ни больше, ни меньше — Лексеичевы. И представляю, как в дождь ли, пургу ли, завершая обход, как ни устал и ни вымок, Лексеич непременно заходит сюда, на лесную могилу. К герою. К летчику Никитину. С первой вербой или с первым подснежником.

Мы продолжаем свой путь. Суровые и молчаливые. Послышалось комариное пение пилы. Выходим на звук. Рабочие пилят елки — хилые, перекореженные, с гнильцой в сердцевине.

— Все следы войны,— вздыхает Лексеич.— В сорок третьем здесь, говорят, проходил второй эшелон немецкой обороны, в поселке стоял штаб. Так что ж, разбирались они? Валили елку подряд, а пни оставляли по метру. От того и пошла гниль, заразила собою почву. Самосев поднялся — и тот болеет...

Говорит Лексеич о лесе, словно о чем-то родном,

наболевшем. Дерево у него — человек. Ель легкомысленна, как соседская дочка: корни все поверху, дунул ветер — и повалило; упал недавно почти весь еловый выводок над верхним прудом. Дуб — мужик основательный, чистый крестьянин. До поры до времени макушкой ни с места, стержнем-корнем все вниз углубляется. Зато как пойдет — вон какую махиною станет. Встретит Алексеич в лесу дубовый кряж — непременно вспомнит деда Ермилыча, Семена Ермилыча Хмылова, нештатного охранника из деревни Гнилуши. Так же кряжист и домовит.

Лексеич лазают по делянке, проверяет, как делают чистку рабочие. Ребята нагнулись над поваленной ивой, затенявшей молодые дубки, раскатывают ее бензопилою на плахи. «Дз-звень!!» — взвизгнула пила и захлестала по воздуху.

— Ах ты, черт! — выругался один из рабочих.— Снова осколок.— Он разгибает спину, держит ржавый осколок в ладони.

— Дмитрий Никитич! — торопится лесник к нему.— Вы зачем же вон ту осину свалили?

— Да она ж, Лексеич, кривая.

— Ей расти да расти...

— Ну, слепим, составим. Эй, Иван! Клей деревянный найдется?

— А ты не смейся,— мрачнеет Лексеич.— Загубили зря дерево. Это все равно, что лесу ногу отпятить. На чем лесу стоять-то, если вот так будем?

Дмитрий Никитич опускает глаза, лицо его багровеет, белой ниткой вытягивается через все лицо тонкий шрам — тоже след минувшей войны. Мы возвращаемся молча, след в след. Уже опять слышать поселковое радио. Но никакие силы не разговоят сегодня Лексеича, не снимут камень с души.

Всю ночь окно секла мелкая, водяная шрапнель, и снег захлебнулся, напился дождем. Под утро, когда все притишилось, во дворе стало слышно какое-то чмоканье — это, подтаивая, проседал захлебнувшийся снег, и земля втягивала его в себя, отбухая и всхлипывая.

А наутро засвежело, засеверило, глянуло солнце, во двор потянуло духом горькой вербы. Небо разголубелось. Алексеич засобирался на питомник, на опытный участок. Еще на подходе к опушке мы услышали, как где-то звенит. Неужели ручьи?

— Береза поет,— однозначно бросил Алексеич.

В самом деле, пели березы. Пела вся опушка, обращенная к солнцу. Покачивались крылья берез, седоватые от гололеда. Стекланные веточки, подтаивая, падали, звенели о нижние, увлекали их за собою, и все вместе пели переливчато и хрустально.

На опушке крутилась, вся в серо-желтой одежде, овсянка, вторила красногрудому снегирю. Воробей — и тот лихо драл голос на одинокой раките.

— Мелкая живность, а тоже Иван Иванович,— с лаской заметил Алексеич.— Весною почтения требует... А вот что покрупнее — скажем, енота — повыбили. Ну, да енота не жалко: зайчат, подлец, перевел. Зайчихе и так бедной в весну негде приткнуться с мальвой. Поля перепаживают, так они по опушкам, лугам и овражкам. А тут еще этот... енот.

— А лоси здесь водятся?

— Ходили... Молодого осинничка зимой поднарежу — подпускают рукой дотянуться. А потом одного по лицензии хлопнули — все ушли в урочища покрупнее. В Мурашиху, в Каменную пустошь...

По лесу дороги не скучны: то на одно глянул, то на другое. Яблоневый сад обнесен толстой липой: вот где,

видать, раздолье рабочей пчеле. А за садом зеленый набор всяких диковин. Здесь и веймутова сосна — по пяти иголок в мягкой метелке, и мохнатые ели, а туда дальше и ильм — редкая разновидность вяза, и ясеневый клен, и сам ясень... Сгрудились породами по откосам прудов. Тут же, на берегу, светлеет аккуратная банька, ютится лесниково хозяйство — рабочие гнут сани и дуги, на повозки делают грядки. Всюду под литыми, красными, будто от солнца, стволами сосен видна рука человека.

Но «козырь» в обходе — питомник и опытный участок, а в нем — тополя. Всех сортов и пород: петровский, бальзамический, волосистоплодный, берлинский... Сажал их Лексеич черенками — однолетками и трехлетками, на полметра, на метр и почти на два метра. Требовалось узнать, какую породу на какой сажать глубине, чтобы получить самый быстрый прирост. Важное дело для целлюлозной промышленности. День и ночь торчал Лексеич на этой делянке, чтоб не занесло «дизели» куда зря, чтоб культивировали междурядья под нужным углом, чтобы бабы цапками не завалили растения.хлопотное дело, а интересное. И по оврагам тополь лучше других приживается.

А то ведь с колхозами просто беда. Стопчут стадом посадку — снова вешние воды крушат свежие склоны. Не один порог обил по этому делу Лексеич, не с одним говорил председателем...

Вечерело. С низинных прудов тянуло синевою и холодом. Где-то там, накрытые сухой листвой, а поверх снегом, лежали вороха желудей, привезенные осенью из Гомельской области, дожидаясь талой земли, чтоб дать рост новой жизни. Их подсадят по пустошам, по лысынам, по большим и малым полянам, и тогда на Лексеича свалятся новые дела и заботы, и будет он, как и

всегда, приходите домой после обхода усталый и запоздавший, и будут встречать его под зеленью палисада голубые ставни дорогих окон, будут говорить ему на пороге: «Дома, Алексеич, все в порядке. Дочки уж спят, а жена дожидается»... И так сегодня и завтра — весну, лето, годы...

А на праздник Победы лесхозовцы собрались все вместе, пошли на лесную могилу. К летчику. К герою Никитину. Многие — бывшие фронтовики, многие — сами герои. С орденами и медалями на кителях, где в петлицах дубовые листья. Пришли и сидели, молчали. Инженеры и техники, лесники и рабочие. Бывшие солдаты и командиры. Защитники леса, защитники нашей земли.

Кто-то вспомнил:

— А где же Алексеич?

Лексеич пришел, слегка запыхавшись; спешил аж из Волчьего Шляха. Принес, положил Никитину золотые кубшинки. И поплыла над лесом незабытая песня:

Где же вы теперь, друзья-однополчане,  
Боевые спутники мой?

Поплыла песня в чистое поле, где ходил трактор. Остановил машину, заглушил на момент мотор человек и прислушался, как шумит лес...

*п. Леонтьевские Посадки*

## УТРО ТУМАННОЕ

Некогда эта дорога — от полустанка Бастыево — лебедино гнулась перед Львом Толстым, Фетом, Некрасовым, Щепкиным. И теперь идут по ней тысячи. В выходной садись в поезд, автобус, да сюда, в косогоры, сады, перелески, в тургеневскую обитель, чтобы здесь хлебнуть голубиноного света, оживиться душе после стеклистого марта, распахнуться первоапрелю. Жестко-слякотное двоевластие уже заменилось всевластьем весны, все обмякло, просветлилось, обтепилось; деревья стоят накануне зеленого шума — притихшие, чуткие, утопив колени в слоинки тумана. Вскрикнув, скрылась за ними моя электричка, а в груди могуче, непобедимо и властно возникает родное, далекое:

Утро туманное, утро седое,  
Нивы печальные...

И звенит все в тебе весенне, ручьиисто. В холодающих балках кончаются залежавшиеся снега. И вот оно, знаменитое Спасское-Лутовиново: сельской улицей упираешься в парк. В тот, конечно, тургеневский. Та же справа семейная церковь, тот же «флигель изгнанника». Только сзади него — розовит и пахуч — возвышается сруб из смолистого кругляка. Все будет тут, как тогда, до пожара. Как в то давнее время, когда маленький Ва-

ня мог часами плутать в переходах большого пустынного дома.

В парк уходишь весь как есть с головой, со всей своей думью-грустью. Бежит, мчится время; что годы — века; вот и парк, некогда юный, состарился, и теперь по-иному смотрятся липовые аллеи, образующие римскую цифру XIX — девятнадцатый век; темно-шершавые стволы стоят рядом, сплошной стеной; их сажали так близко не просто: чтоб гнали, тянули друг друга ввысь, и теперь они, густокронные, затевают собою посадки. Бежит, мчится время; когда-то на этих аллеях затевались и «Отцы и дети», и «Рудин», и многое из «Записок охотника». К краю своему, ржаному да ситцевому, обращалась страждущая душа: дубу, Родине поклонитесь... А сейчас занедужил тургеневский дуб, вот и лечат, и лечат. Бежит, мчится время, и у пруда Савиной, в загустевших туманах, вновь всплывает, колыхается нескончаемое:

Вспомнишь обильные, страстные речи...  
Первые встречи, последние встречи...

У колодчика со знаменитой водой стоит женщина. Невысокая, крепкая, в годах. Наполняет бидон слезистой колодезной влагой.

— А что, нет к вам водицы поближе?

— Ближе нет-ти,— хитровато шуруется женщина.— Есть, правда, напротив колонка, а мы любим вот эту воду, тургеневскую. От нее голос звончее да чище. У нас, почитай, все село сюда...

— А на что вам голос, поете?

— А как же ж! В клубном хоре. Вот как раз сегодня и спевка. Спросите на деревне Галину Яковлевну — я, значит, и буду.

День прошел в ожидании, в разговорах да в знаком-

стве с апрельским селом. А оно обжитое, обстроенное, по широкой улице — чистые здания: Дом культуры с библиотекой, контора совхоза имени И. С. Тургенева, магазины, а в конце — двухэтажная школа.

С сумерками я уже шел на околицу, где держались одна другой три сестры, в девичестве Пасынковы, знающие, как говорили мне, толк в русской песне. Собственно, рядом жили две из них — Галина и Аксинья: младшая ж, Ефросинья, была «на деревне», поодаль, зато к этим двум прибилась, пристроилась сноха Аксиньиной — Анна Прохоровна, совхозный ветврач. Так и живут своим крестьянским гнездом на околице. Все у них на глазах, перед окнами: кто вошел-въехал в село, а кто — на Бастыево. В эти окнушки виделось многое, жизнь мелькнула, как хоровод...

Старшая — Галина Яковлевна, по мужу Уваркина — живет в третьем доме от края. Дом как дом: обшитый тесом, глазастый, позавешенный яблонями, вишняком, а внутри привораживает русской печкой. Все здесь вроде как и везде, но с особым, спасско-лутовиновским колером. На комодке чей-то портрет — узкое лицо, седоватые волосы, мягкий взгляд.

Галина Яковлевна ведет речь легко и свободно, в меру плавно, спокойно. Бледное лицо ее слегка розовеет, морщины растягиваются, но седая пыль на висках, водянисто-голубые глаза говорят, что крестьянская ее жизнь была не из легких.

Наработавшись за день в совхозе, поуправившись дома, по одной да по парочкам тянутся к Уваркиным пельменицы, перешучиваются, перемигиваются, приодетые, словно на праздник, зарумянившись, захмелевши в предвкушении песни. Сели по стенке, к столу, по душе да под голос, посерьезнели, попритихли: ну, какую? Ветер, сорвавшись с Кобыльего Верха, где Бирюк когда-то

изловил мужичонку-порубщика, швырнул в окна крупные капли дождя. И вдруг что-то сверкнуло, прогрохотало, прокатилось и покатилося куда-то за лес, за парк, за пруд Савиной...— гром! Первый, ранний такой, весенний. А вслед ему еще и еще. Наддай да покрепче, покрепче!.. И вдруг меж громами возник тонкий, трепетный голос:

Туман, туман при долине...

И громы затихли, словно прислушались, вздохнули еще голоса, разошлись да подстроились, потянули, повели протяжно и грустно:

Туман, туман при долине,  
Широкий лист на малине...

Звенит, серебрит голосом Галина Яковлевна, а напарница ее, Ширяева Мария Николаевна, стелет медным, вторым погуще. Тут же сестры... Песня, что за диво русская песня! И куда ты ведешь нашу душу, в какие долины-туманы? И тебя захватила, и другого, десятого да собрала всех вместе в такой, извините, кулак, что попробуй-ка кто разогни — сила силой мы, коль душа в душу, огонь к огню, песня к песне. Только тот песне люб, кто вознал ее с детства, весь проникся ее степной ширью, думной глыбью да болью сердечной, да радостью искренней.

По всей лавке, по стенке, гляжу, шевельнулись, задвигались песельницы, переглянулись, колыхнули плечами:

Заря, моя зорюшка,  
Зорюшка вечерняя,

— живо и весело заводит уже другую Галина Яковлевна.

Иво-лели, яли-яли,  
Яли-ле, яли-ле,

— озорновато, словно перекатывая легкие камушки, играют звуками песельницы.

Песня эта знакома, слышана мною и здесь, и во Мценске — одна из величальных Тургеневу, а опять же поди как волнует. За оконцем, во чистом поле, темнеет дубовый мысок — Кобылий Верх. Голоса певуний утекают куда-то, тускнеют, и тогда отчетливей становится ровный голос Уваркиной, повествующий про жительство.

— Отец мой, Яков Петрович, — недавнушко помер — годков сто пожил, помнил, милые мои, Ивана Сергеича. Все, бывало, рассказывал людям... А учился он на усадьбе, в Тургеневской школе. Тургенев сам в класс к ним захаживал, даривал карандаши да тетрадки, а отцу так букварик достался. Все жив был букварик тот, пока мы с братишками, с сестрами не растащили его на листочки... А у отца отец — дед, значит, наш, Петр Сергеич — был в селе вроде старостой. Когда умер Иван Сергеич, все в голос, в плач. Собрали копейки, купили веноч с лентой «Земляку дорогому от спасско-лутовиновских крестьян», да и послали деда в столицу. А дед не шибко был грамотный, доехал до Москвы, искал-искал в белокаменной, где хоронят Тургенева, да так с венком и вернулся... А хоронили-то в Петербурге...

Все игривей, забористей песня, ведет за собой голоса Галина Яковлевна, подголоски вьет Матрена Упатова:

Через лес, через поле,  
Через синее море...

— А когда приезжал наш Иван Сергеич из Фран-

ции, праздник случался на всю округу. Сходились крестьяне к усадьбе на большую поляну, тонкий-карагоды водили, стон от песен стоял. Пели ему «Во рюмочке во серебряной», «Розу белорозовую», «Ах, кто ж у нас хорош» и эту вот — «Жердочку»:

Как на этом морюшке  
Там лежала жердочка,  
Иво-лели, яли-яли...

Вся светлица полна узорчатой песни, вперехлест тешатся голоса.

Сидят рядом с Уваркиной сестры: по правую руку — Аксинья, по левую — Ефросинья. Тоже в возрасте, круглоликие, крепкие. Сколько тягот легло на их плечи — и в совхозе и дома — да прошло за всю жизнь через сердце. Вон Аксинья хоть... Уж на что плясунья да пельсеньница, а затеется песня, так и вздрогнет, затомится, до слезы закручинится:

Рассказать ли вам, подружки,  
Про несчастье про свое...  
Милый бился со врагами,  
Эх, три ночи и три дня,  
Положил свою головушку  
На турецкой на земли.

Вспоминает Галина Яковлевна, как вернулся с войны хозяин Аксиньин израненный, пожил мало, оставил жену с четырьмя, саму — пяту. Да у них с Ефросиньюшкой было по двое. Спасибо, жили одна к одной, друг за дружку. А коль врозь — разве б выжили?.. Война легла в душу камнем. Не выветрится, не обтолкается. Да и как забыть ту дождливую осень, когда, проводив своих мужиков на фронт, забилась сестры с детишками в страхе, прослышав, что немцы будто идут проселком на Чернь, на Москву? Как забыть ту разведку боем,

когда, ворвавшись неожиданно, немцы чуть не посекали из пулемета в семейной тургеневской церкви всех односельчан? Как не помнить соседей своих — туляков, приютивших у себя их, тургеневцев, изгнанных ворогом с прадедовских пажитей? Как обычное дело, приняли не велик, но душевный дар, главное для обживания: зернеца да картошки на семена, на обзаведение — петуха да куренка, на колхоз — одну-две лошаденки. И, лишь дали команду, двинулись по проселкам в обратную. Шли со скарбом, с детишками на горбу. Шли, чем ближе домой, все быстрее, быстрее. Шли, обгоняя порой вереницы машин, припадая и падая в бессилии на снег, и вновь поднимаясь — вперед и быстрее, быстрее! Заходили в Спасское-Лутовиново от Бастыево, глянули — и обмерли: все сметено, лишь три дома в пустыне: в парке — «флигель изгнанника», по селу — пятистенник Пасынкова, да дом Дарьи Новиковой. От избы ее, Галины Уваркиной, только рама осталась. А морозы трескучи, а детишки ведь... Но увидели женщины: жив тургеневский дуб да не сух колодец усадебный, тот, с малиновой водой. И откуда взялось вдруг. Завел кто-то песню — осторожно и сипло, прижала Уваркина к коленке меньшого своего, натянулась вся в хлынувшей радости: «Ведь домой же, домой возвратились», да как выплеснет, поведет звонко:

Эх, встрепенулась бела рыба на воде,  
Стали рыбицу залавливати,  
На желты пески вытаскивати...

Кто-то вскрикнул лихо: «Эх-ма!» Кто-то сбросил прямо на снег заплечную торбу, расстегнул выдавший виды бушлат, закружился, уминая наст подшитыми валенками. Кто-то ринулся вприсядку. Поплыли в хо-

роводе русские женщины — Упатовы, Ширяевы, Пасынковы.

Бегут на песню солдаты — холодали, голодали здесь в окопах долгие месяцы, а тут — песня. «Артисты приехали!» — «Да какие артисты? Свои, лутовиновские!» Дробит наст, манит взглядом молодайка в телогрейке:

Хорошо ли тебе, рыба, без воды?  
Хорошо ли тебе, красна девка, без дружка?  
Эх, как я млада похаживала,  
Чернобыль-траву заламывала,  
Гуся серого залавливала.

— Эх-да! — бросается в круг молоденький лейтенантик.

— Ой, люли, яли-яли... Давай, Коля, по-нашенски, по-вологодски! — поют, кричат, гомонят впереводку сильные от морозов и пороховой гари голоса, и взвывается разбойничий посвист.

Ой, мое личико разгарчатое,  
Моя маменька догадливая.

Плывет по кругу, прикрывает молодайка щеку свою обгорелой телогрейкой.

— Это ничего... хорошо, хорошо, — плачет-смеется парнишка-солдат с забинтованной головой, и слезы капаят, жгут под ногами снега...

Долго еще, распаясь, перебирают в светлице певуны песни одну за другой — поэтические, давние, возникающие вдруг по какому-то слову в извивах памяти. Поют песни-веснянки, про то, когда тропинки только чернеют и снег начинает тревожиться.

Собираются уходить как-то все неожиданно сразу. Прощаются, перешучиваются, хлопают сенечной дверью, и на улице все висит, погасая:

Во рюмочке во серебряной  
Крутой бережочек.  
У кого ж у нас  
Золотой разумочек?  
У Ивана-то у Сергеевича  
Золотой разумочек...

Долго еще сидит и Галина, подперев виски, размышляет. О прошлом и будущем, просто о жизни. О сестрах. Она теперь в семье старшая. Проснется, бывает, вот так ореди ночи, глядит в окно — заботушки ломают голову. Как им там, в Москве, сыновьям ее? Что-то нет письма. Вон Лизаветин Алеша под боком, а своих, поди, не удержала... Строители. С того самого дня, как мальчишками взялись за топор. А кому было? Мужики на фронтах, а жить где, когда вместо изб головешки? «Первой будем Апроське,— рассудил старый отец.— У нее ребятенков поболее... Потом Ксюше... Потом Галине...» Подпряглись да возили семью блиндажное дерево да кирпич с погорелого. А как Валя с Алешей взялись за топор, так и сердце зашло: ну куда таким — тощие, от горшка два вершка? Все бывало: спорили, ссорились — и как почту вязать, и как матицу класть. Но срубили все ж к осени один да другой срубы, посложили и печи. И пошли с того-то по плотницкой. Сколько в Москве теперь всего сладили... Наезжают хоть в праздники, а все не под боком. Болей, думай и о них, и о сестринских, о всех Пасынковых. Так ведь мать умирала, наказывала: «Апросьюшку не забывайте, она у нас в стороне, ровно кус откушенный от блина нашего пасынковского. Тяжело ль кому, праздник ли — всех сюда на застолье, на семейный совет. Тут-то вместе все, милые мои, и рассудим...» Вот и годы уже подошли, и зовут ребята к себе, а как бросишь землицу, село, дело свое изначальное? Дай лишь лето, снова vro-

вень с людьми в поле, на ток, к хлебу-дедушке, под начало учетчика Алифанова, потомка, говорят, того егеря Ермолая, про какого Тургенев писал...

На рассвете кто-то шумнул в окно.

— Киселька сварила тебе овсяного,— прилипла к стеклу Аксинья.— Где бидон у тебя? За водой собралась.

— Погоди,— откликнулась Галина Яковлевна и повернулась ко мне:— Печень у меня, поджеливает меня сестрица-то.

Бросив пустые бидоны в тележку, Аксинья направилась в парк.

Утро было снова туманно. Крыши «флигеля изгнанника» и новостройки отливали сереющим небом, с них, стекая, перетенькивалась капель. «Тьень-тьинь»,— прозрачно и звонко вторила им из глубины веток синица. Молодые липки на открытых местах светлели живой, гладкой, налитой соками кожей. Вековые липы стояли на аллее, кажется, еще ближе друг к другу, теснее, не протиснуться меж ними и боком. Восемь окон смолистого нового дома смотрели на них, благодушно спокойных, на «беседку Рудина», в сторону, откуда восходит солнце. Всюду еще лежали синие тени, вверху суетились грачи. И там же вверху стоял смутный гуд, он нарастал, становился упорнее, рядом порснула почка — первая, самая ранняя, но в других еще зрело движение, и зеленый шум был еще впереди, впереди. А гуд все стоял, оформляясь в едва уловимое пение, и пение это висело над мохнатыми необхватными елями, над тонкими липами. Верховой ветер, путаясь, пел в увесистых лапах басовито и мягко, зато высоко и со свистом сквозил в жидких липовых ветках. Подстраиваясь друг под друга, липки и ели слагали песнь на два голоса. Память подавала слова:

Туман, туман при долине...

По верхам, заглушая все, прокатился неукротимый ход электрички. Поймав его, деревья передали его дальше — пруду Савиной, полю, Галахову лесу и опять успокоились, отыскивали свое.

*с. Спасское-Лутовиново.*

## БОБЫЛЬ

Автобус мягко вкатился в березовую аллею. Багряные листья заполоскали по ветровому стеклу, внутри как-то позолотело. Бодров плотнее обхватил медвежьими лапами руль, подумал устало: «Вот бы детишек куда...»

Все мальцы липли к нему, как мухи. Добро бы приваживал чем, сладостями какими или придумками, так нет же: в карманах его вместо конфет вечно гремела всякая железная всячина, а от самого словом лишним за день, бывало, не разживешься.

Правда, раз в году, когда профсоюз производил его за подходящий рост в деда Мороза, Бодров преобразился: пересыпал свою неуклюжую речь наспех выученными прибаутками, путался в разных побасках, выкопанных из старых журналов, и, не дождавшись конца, уходил за кулисы вытереть пот со лба: трудно давались ему эти елки. Из-за них да еще из-за всегдашней бодровской угрюмости так и присохла к нему кличка «Мороз». Придумают же...

Сегодня в автохозяйстве получка, из конторы Бодров отправится с шофернею в столовую, будет угощать всех заядлым «сучком», распалившись, обдумывать вслух нескладную свою судьбину, петь тягучие, как медовая брага, старинные песни.

В предчувствии этого его тянуло на разговор, но пассажиры попались не больно речистые — всего-то слов от них, что бурчат на ухабах да ухватистей обжимают плечушки с антоновкой.

С тех пор, как вернулся с Донбасса, Бодров на этом маршруте впервые и потому с интересом смотрит на деревушку, вынырнувшую из-за поворота. Возле колодезного журавля, подняв руку, «голосуют» школьники. «Третий—четвертый класс,— определяет Бодров.— Небось, в Кострово ездят...»

Автобус, пискнув тормозами, останавливается.

— Грузись, шрапнель! — строго командует Бодров и хитровато щурится:— С двойками, чур, не беру.

Передний мальчишка пятится, прячется за спины, принимается что-то запихивать под рубаху. «Ну, и шустер,— примечает Бодров.— Вылитый Колька... И конопатый...»

Чем-то больным и давнишним пахнуло в бодровское сердце. Эх, не встречать бы мальчонку этого, не сбивалась бы память на своего, родного Кольку. Вот с таким малолетком-ясенем, ясноокиим да крапленным, провожала его Настюха к военкоматским коновязям, когда загремела война. Обмирала на его плече, чуяла, не свидеться больше... Так вот и мыкается он, солдат, с войны бобылем, живет неприкаянным человеком. Сына даже не пощадили, сволочи...

— Ты чего, Колька? — очнувшись, окликает он конопатого.

— Он вовсе не Колька, он Вовка,— затараторила девочка в бантиках.— Он дневник за пазуху прячет.

Вовка остался на дороге один. Лицо взялось пятнами, крапинки разрослись в медные пятнаки. Клок рыжих волос, выбиваясь из-под пилотки, жарко полыхал на солнце.

— Возьми ребятенка-то,— загомонили бабы с плетушками,— не вишь, сгорел со сраму...

— Га-а-а! — грохнули в автобус ребятишки.— Он у нас отродясь такой — огневой.

Вовка судорожно сглотнул слюну, потоптался на месте, решительно зашагал по Костровскому большаку.

— Грузись,— подрулил к нему Бодров и, обернувшись, бросил угрюмо:— С завтрашнего вход по дневникам...

Каждое утро юркий бодровский автобус останавливается в Кривых Верхах, и ребятишки входят в него с дневниками в руках. Бодрову уже хорошо известно, что делается в Костровской школе. «Вовка Пакалдин — самый что ни на есть первый хулиган в классе...» «Верховские не получили за неделю ни одной двоечки»... «Вера Иванна хвалилась мамке, что после лета дети успешно втягиваются в педагогический процесс...»

Без умолку тараторит над ухом девочка в бантиках — Оля, Бодров кивает ей на выбоинах затылком, а сам при случае косится назад: ищет на ближних сиденьях Вовку. И если тот забивается в самую глубь, Бодров уже беспокоится, принимается гадать, что же вчера натворил Вовка: ай снова обтрусил у кого яблоно? Или написал кому, как Петьке на пении чернилами поперек спины нехорошее слово?

Все теперь знает Бодров про Вовку Пакалдина, все читает по его глазам: и что растет малец безотцовщиной, и что дерзок он в шкодах своих, и что тоскует по отцовским рукам, тайно завидует соседскому Петьке Петрачкову, у которого хоть больной (в чем держится дух), да все-таки батька.

Вчера Петрачковы вытащили на берег плоскодонку, смолили на зиму днище. А у Пакалдиных ни лодки, ни бредня. Ни одного мужика в доме, кроме Вовки. Бабка

старая, все кряхтит да все молится под иконами. Еще вздумала крестик Вовке на шею набросить, вылетел Вовка опрометью из сенец, так бы и не являлся домой, если б не мамка...

Жаль ее Вовке. Она у него агрономкой, неделями днюет-ночует в поле. Закружилась за лето, и он, Вовка, растет, говорят, что дикий шиповник на круче...

Бодров следит за бегущей дорогой и думает, долго и нудно думает, как заговорить ему с Вовкой, чем притянуть к себе пацана. Всякие шуточки да побаски забывались на другой день после елок, а свои слова у Бодрова известно какие — булыжники.

— А ну подь сюда.— Вовка движется медленно, пол выпрыгивает из-под ног.— Ты чего конопатый? — Вовка сопит, подобрившись, отводит голову вбок. Потом поворачивается к Бодрову, замечает размякшие морщины на лбу.

— А так... Загорал на солнце под ситом.

— Ишь ты,— удивляется Бодров.— Веселый парень... Что завтра собираешься делать?

— А мы завтра идем всем классом в Клейменово,— отвечает Оля.— Учительница говорит, на могилу русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета.

— Да? — равнодушно — так, для порядка,— переспрашивает Бодров и, обернувшись, подмигивает Вовке:— Хотите, подброшу вас туда на автобусе?

Незнаком Бодрову этот проселок. «Не заблудимся?» — улыбается он Вере Ивановне.— «Да нет же! — звенит голосами автобус.— Мы туда за орехами ходим». — «На нашем пути встретится Покровская гора, воспетая Фетом,— говорит размеренно Вера Ивановна.— Потом Галахов лес, принадлежавший когда-то купцам-соседям поэта...»

Бодров слушает, кивает согласно, а сам нет-нет да и

поищет глазами Вовку. Чудной он нынче какой-то — глазастый и бледный, кусает в волнении губы. Хочет Бодров сказать ему что-нибудь смешное, веселое, да до рога такая — гляди да гляди. Перелески, поля, перелески. Вот оно, наконец, и Клейменово. Фетовский пруд. Косой полосой примыкает к нему лес. Вот и церковь, и склеп с мемориальной доской. По стене взбирается ввысь крапива — вся в ядовито-желтых разводьях.

Притихли ребята, притих перед могилой поэта и Вовка. А над головой ведет белый след самолет, рябит этот след волной на поверхности пруда. И кругом паутина — серебристая, тонкая.

— Кто, ребята, знает фетовские стихи? — оживилась Вера Ивановна.

— Я, я знаю, — заспешила, заторопилась Оля и начала сразу и звонко:

Я пришел к тебе с приветом  
Рассказать, что солнце встало...

Ветерок играл прядкой ее русых волос, колыхал у стенки крапиву, а Бодров все дивился и не мог надивиться на Вовку: смирным был сегодня он, не таким, как всегда. Собирал листья клена, шевелил о чем-то губами.

— Сочиняет, — подошла к Бодрову Оля и, сделав большие глаза, зашептала: — Он стихи пишет. Только велел никому-никому...

Удивился Бодров: еще бы, стихи! Всю жизнь казалось Бодрову, что давным-давно все писано-переписано: Пушкин, Лермонтов, Фет. Никогда бы не подумал, что можно так: ходит рядом малец, а глядишь — тоже пишет стихи...

На обратном пути еще мягче, добрее смотрит Бодров на мальчишку. Ишь, глазастый, — поэт! Ссаживая всех у Кострова, подзывает Вовку к себе, улыбается:

— Хочешь, Вовка, в город со мной на воскресенье?...

Бодров ведет Вовку по городу. Навешиваются над дорогой екатерининские тополя — обомшелые, кряжистые, не обхватить пятерым.

Засунув в карманы ручищи, шагает Бодров широко и уверенно. Вовка едва поспевает за ним, все вертит головою по сторонам, все глядит да разглядывает, да заглядывает Бодрову в лицо. Чует Бодров, как прибывают, играя, в нем силы. Захочет — и свалит те кряжи. «Хорош малец, — думает он о Вовке. — Вишь ты, — поэт!.. И конопатый». Смежает Бодров ресницы: идут они с Вовкой нескончаемой улицей — большие, похожие, огневые, как солнце...

Теплая волна любви к этому маленькому человечку накатывает на Бодрова. Хочется ему, чтобы Вовка обернулся еще раз, улыбнулся, положил бы ладонь в ладонь. Тогда Бодров все расскажет... Он скажет...

— А это, гляди, забегаловка.

Из всех примечательностей Бодров показывает все больше съестные места. Видно, изрядно пришилась к ним его бобыльная жизнь: немало довелось похлебать Бодрову казенных щец, перемолоть казенной картошки.

— А это вот автопоилка.

Понимает Бодров смущение Вовкино: автопоилки — на ферме, а здесь перед ними белый каменный дом, совсем не похожий на ферму. И когда Вовка высказывает свои сомнения вслух, Бодров улыбается мягко и грустно:

— Это ж наша шоферская столовая... Зайдем?

Бодров заказывает Вовке чаю сразу четыре стакана. И глядит, довольный, как тот осушает уж третий. Пей, пей, Вовка, таких вкусных чаев, небось, не пивал дома сроду.

Подходит официантка, ставит на стол тарелки, кивает челкой на Вовку:

— Где это ты, Мороз, сынка себе подхватил? — И, уходя, играет глазами:— На семью, знать, потянуло Бодрова.

Бодров склоняется к дымящемуся борщу, смотрит на Вовку поверх тарелки, и доброта, которая проснулась в нем нынче, переполняет его душу. Он сталкивается с Вовкиным преданным взглядом, видит, как движутся в еде его острые уши, и резкая боль пронзает и, не проходя, держит его просветлевшее сердце.

Помнит Бодров рассказ Вовки, как тот был всего раз в универмаге. С мамкиным братом дядей Васей. И запомнил тот день на всю жизнь. Продавщица заводила мотоциклиста, он крутился на зеленом прилавке, подлетал к Вовке, бился о ладони и пальцы, улетал на другой конец прилавка. Вовка просил, умолял дядю Васю купить ему это сокровище, но дядя Вася ответил, нет денег, мамка на это им не дала. А другим — отцы покупали. А своему Женьке дядя Вася купил даже ружье...

И снова катит юркий автобус в Кривые Верхи. Паутина перетянула дорогу, хлопьями повисла промеж берез. «Бабы лето, Вовк, ничего не попишешь.— Бодров включает «дворник», и тот принимается бегать, счищая паутину с ветрового стекла.— Скоро, знать, задождит». Бодров щелкает выключателем: побереги, дескать, силы на непогодь.

И правда, через неделю задождило, дорогу развезло до обочин. Старенький бодровский автобус приволокли на стоянку с побитым задним мостом.

С полмесяца провалялся под ним Бодров: перебрал мост, подзаварил кой-какие трещины. И вот он снова на знакомом маршруте. Только теперь сквозь березовую

аллею видать налитые водою поля, по блеклому придорожью ветер гнал пожухлые листья.

Бодров отчаянно завертел баранку, и автобус, вырвавшись на сухое, вкатился в Кривые Верхи. Еще издали Бодров узнал тонкую шею колодезного журавля, и душу его облило теплом. Как всегда, подняв руки, «голосовали» школьники. Вовки меж ними не было. Стало как-то не по себе... Что-то новое и необычное было сегодня в ребятах. Бодров силился понять: что же? — и, наконец, догадался: из-под одежды у ребят выглядывали пионерские галстуки.

До самого Кострова ребята рассказывали Бодрову, как принимали их в пионеры, как давали они клятву у знамени, как разучивают сейчас пионерские песни. Бодров слушал их и все порывался спросить о Вовке Пакалдине. И пожалел, спросивши: слишком жестоки были услышанные им слова:

— Чмякнулся Вовка с ракиты дней десять тому...— Оля говорит редко и тихо. Надсадно ревет мотор.— Позвоночник, говорят, повредил... Агрономка вчера забрала домой из Костровской больницы...

«Дворник» не успевает сгонять капли с ветрового стекла. Все впереди дрожит в водянистой пленке перед Бодровым... После рейса Бодров заходит в культмаг. И опять катит привычной дорогой автобус, поворачивает к старым ракитам, ко двору агрономки. Бодров входит в осевшие сенцы. В передней горбится над столом седая старуха с землистым лицом. Кто-то, видать, сама агрономка, ставит на загнеток чугунок переспелой картошки. Оборачивается на стук.

Никогда б не подумал Бодров, что это и есть агрономка, самая что ни на есть настоящая мать Вовки Пакалдина. Смоляные косы уложены на голове в три вен-

ца, даже сквозь смуглость пробивается на щеках крепкий румянец.

Давно заприметил Бодров эту статную женщину, медлил, бывало, затворять дверцу, когда выходила она из автобуса.

— Вы к кому? — задержались на Бодрове ее глаза.

— Друг у меня здесь... Вовка... Пришел вот проведать...

Вовка лежал в горнице, на себя не похожий. На бледном лице выделялись рыжие крапинки. Приоткрыл глаза, слабо улыбнулся Бодрову. Бодров взял в руку его похудевшие пальцы, и они утонули в его ладони... Так и сидели они пять, а может, десять минут, пока не забеспокоились пассажиры и по двору не поплыл басистый сигнал. Бодров встал:

— Выздоровливай, Вовка.

Вовка задвигал губами, Бодров наклонился, чтобы услышать его, снова присел на стул.

— Я хотел вам... сказать тогда...— Вовка устал от усилий, задышал мелко и часто.— Как Петька Петрачков с батькой... смолить лодку...

Играя жесткими желваками, тыкаясь мимо пуговиц, Бодров расстегнул карман гимнастерки и вытащил красный галстук. Положил галстук Вовке на грудь и улыбнулся, как только мог в эту минуту. Как не улыбался, может быть, все эти годы после войны.

— Теперь ты, как и все, пионер.— И сунулся к двери.

Заголосила, завывала, истово закрестилась в передней старуха. Мать стояла, опершись на дверной косяк, без единой кровинки в лице. Она подняла на Бодрова глаза — Вовкины преданные глаза и, обмякнув, уронила щеки в ладони.

— Завтра приеду за Вовкой. Сам повезу его в об-

ласть.— Снова басистый сигнал во дворе. Бодров наваливается боком на дверь, прощаясь, еще раз взглядывает на агрономку.

— А Вовку вырву зубами. Выживет Вовка, слово Бодрова.

Четко заработал мотор, автобус продолжает свой рейс.

Так же сечет стекло жесткой осенней сечкой, носится без устали «дворник» и чернеют поля. Но теперь для Бодрова все изменило свой смысл. Бодров выходит наружу и, отжав тряпку в лужице, водит ею по заляпанному ветровому стеклу, чтобы лучше и дальше виделось. Нельзя без света шоферу, какая без света дорога.

*г. Мценск — с. Клейменово*

## ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА

Письмо лежало в кармане у сердца и жгло, прожигало его каждой строчкой: «Дорогой Владимир Николаевич! Мы приглашаем Вас в места, где проходила Ваша молодость боевая... На памятнике у братской могилы, что над обрывом нашей маленькой речки Снежеди, есть и Ваша фамилия... через архив Министерства обороны выяснили, что Вы живы... красные следопыты села Светлогорье».

Ехать к себе на могилу! Признаться, поначалу он растерялся от необычности ситуации, в которую ввергало его это письмо. Когда же все в нем сменилось воспоминаниями и размышлениями, он пошел к начальству отпрашиваться в дорогу, приугадывая свою поездку к празднику, к Дню Победы.

Его поспешно снарядили в путь, даже выписали командировочные, и многие пришли провожать его на вокзал. Из заурядного виолончелиста в оркестре он вдруг превратился в весьма примечательную фигуру, словно и в самом деле надо было где-то погибнуть, чтобы снова воскреснуть и жить. До сих пор он помнил привкус сухого шампанского в вокзальном буфете, звон бокалов и смех товарищей, радостный клекот их громовержца — главного дирижера...

От небольшой станции на Орловщине, куда доста-

вила его электричка, ему надо было еще километров за двадцать пять. Одолевали воспоминания. Не заходя в вокзал, прямо с поезда, он решил отправиться в Светлогорье пешком, по-солдатски. В пути эти места узнавались памятью все решительней, все ближе вставали события прошлого.

Он был строен и худ. Собираясь сюда, извлек на свет божий еще те, офицерские свои сапоги и теперь шел в них, поскрипывая, намеренно резко поворачиваясь то вправо, то влево, чтобы еще раз услышать перезвоны медалей, наколотых на парадный костюм. Справа он прикрепил орден Красной Звезды, полученный в сорок третьем за Светлогорскую операцию. Память о ней хранили тело его и лицо — щеки, покрытые тонкой розовой кожицей, шрамы на месте бровей, сплюснутый нос... Только лоб был чист, высок и нетронут, над ним плескались белокурые волосы — юно, неукротимо. Ветер нес с майских полей запах ушедшего в землю снега, сильного чернозема, гулы работающих агрегатов. Сейчас люди сеяли, а тогда, в августе, война снимала в полях свою страшную жатву...

Он нашел школу быстро. Набежавшие ребяташки, среди которых, возможно, были и авторы того самого письма, проводили его к тете Паше. Засуетившись, та сообщила, что и школьное, и колхозное начальство покатило в район, а уже из района с военкоматовскими и райкомовскими — на станцию, а уже со станции с почетным гостем должны б и сюда, так что расстрялись. Сумерки между тем уплотнились, сизоватая дымка устремилась с парящих полей на бугры, на пришкольный сад, на школу. Протерев окна, пол в коридоре, тетя Паша отперла директорский кабинет и начала домовито стелить гостю на диванчике, как уже привыкла делать это для всех наезжающих. Взглянув на него при элек-

тричестве остро и как-то раскованно, она вдруг потеряла твердость движений, осела на простыню, сказала ласково и сокрушенно.

— Да что же это я, право... Сын мой — директор школы, идемте ночевать к нам — накормлю, напою.

Он лежал в хрусткой постели и ждал утра. Посреди ночи под окном зарычала машина, хлопнула дверь, раздались голоса.

— Тсс! — услышал Владимир Николаевич голос хозяйки. — Он уже здесь, у нас.

А он все лежал и ждал утра. Что-то смущало его в этой женщине, что-то в ней было далекое, неуловимое. Он слышал за дощатой переборкой ровное мужское дыхание, дыхание ее сына — директора, ее дыхания он не слышал, сколько ни напрягался, и понимал, что она тоже не спит, тоже, вероятно, смотрит в окно, видит Большую Медведицу и тоже думает, думает... О чем думают люди почти в пятьдесят? Да к тому же в такой момент, как у него? О том, что прожито и что пережито. Ему не в чем себя упрекнуть. Трудился, трудился. Если бы он был рабочим, сказали бы, трудился в поте лица. Но пот у виолончелиста иной, да и лицо у него... н-да,.. Говорят, раны воина красят, а разве расскажешь залу, что сожгло, опалило тебя в сорок третьем? Да ведь и не рассказа ждут от тебя, а мастерства, вдохновенья. Если б не эта война, он в сорок третьем закончил бы консерваторию. Он был талантлив. Во ржи сожгло тогда не только лицо... Руки, руки! Какие они бугристые, рваные. Ушла из них уверенность, легкость ушла... Но он все же добился своего, он стал музыкантом. Не при- мой, не соло, не виртуозом, но стал. И если сейчас держать отчет перед теми, кто лежит в земле, он может смело сказать, что не изменил делу своей жизни, война не сломала его...

С утра все развернулось, словно в кинематографе: встречи, знакомства, приезд райцентровского начальства, журналистов из газет, радио, телевидения. В Светлогорье, по случаю Дня Победы, затевался масштабный митинг.

Он решил пройти по окрестным полям и балкам, по местам, где когда-то... убили его. Попросил, чтоб никто не шел за ним, не трещал кинокамерой, не расспрашивал. С ним был только хозяин дома, где он остановился,— директор местной восьмилетки. Был Светлогоров того счастливого возраста, когда порывистость молодости уже ложится на нажитый опыт. Понятия о жизни он был, вероятно, такого же, потому что почти так же, как и Владимир Николаевич, не столько глазами, сколько сердцем воспринимал заросшие в логах траншеи и пулеметные гнезда, высветившиеся на просторных полях зелены, лесополоски из крепких дубков, в почках которых созревала, тужилась, готовясь выпростаться, новина.

Картины прошлого обжигали солдату память. Вот этой длинной и узкой балкой они — тремя танками — уходили тогда на рассвете в рейд по тылам врага. Вот здесь соскочила с брони та светлогорская девушка, их проводница, долго махала рукой. Разведка боем — все понимали, что это значит. Хрустела на плече у него новенькая портупея: лейтенантик, только что с курсов, командир взвода разведки...

— Есть обеспечить наступление разведанными,— звенит в ушах то, что он говорил командиру.

А позади в окопах ребята. Вся дивизия у них за спиной; впереди — затаившийся враг.

Прогрел по тылам и потеряв одну боевую машину у станции, они возвращались домой. Уже маячило Светлогорье. На этом поле снарядом разворотило башню,

его швырнуло далеко в сторону. Он очнулся во ржи. Былки качались, качались над ним, словно лес, палило солнце. Лопалась голова, губы трескались, не вмещался во рту распухший язык: пить... Совсем близко слышались смех и немецкая речь. Затрещало, заухало — в танке рвались боеприпасы. Огонь шел по ржи на него, и он уползал, скребся вперед, обдирая нос и плечи, а огонь уже хватал за пятки, руки, лицо. Горели хлеба и, яростные, обезумевшие, несли смерть вместе с дымом. Обессиленный, он скатился в травянистую выемку, лысину — вымокший осенью хлеб. И уткнулся в землю лицом.

— Стой, руки вверх! — услышал он голос и, скосив глаза, увидел красную звездочку на пилотке человека со скуластым лицом. «Казах... соседняя дивизия... наступают», — отлегло у него, и он опять потерял сознание.

Все это давнее и, казалось, забытое так живо вошло вдруг в душу и тело Владимира Николаевича, что его передернуло, от жара и боли опять заломило лицо. Вот эта балка. И это поле. А выемка, где же та выемка, его спасительница? Трактора разровняли, разгладили землю...

С утра они с Светлогоровым не сказали друг другу и слова, да слова были и ни к чему. Лишь уже подходя от заречных выселков к самому Светлогорью, Владимир Николаевич заметил спутнику, чтобы чем-то заключить их молчаливый союз:

— Тут у вас в Светлогорье везет, наверно, на Светлогоровых?

— Нет, почему же, — ответил директор. — Я только один. Да еще, правда... сынишка мой — Саня, Санек. Между прочим, тоже из тех следопытов...

К площади перед сельсоветом уже стекался народ. Шли и ехали из всех дальних и ближних планов самого

Светлогорья, из соседних сел, хуторов и деревень. Ставили в «козлы» велосипеды, расставляли рядами мотоциклы и автомашины. Все было празднично и нарядно, а чего же еще? — отхлопотались, отсеялись, положили в землю зерно новой жизни, можно поднять чарку за живых и за мертвых, помянуть все и вся в День Победы. Ветераны ходили героями, в орденах и медалях, — по медалям за Прагу, за Варшаву, за Кенигсберг узнавали своих по фронтам, дивизиям и батальонам.

Светлогоров провел почетного гостя в школу. Здесь представил его следопытам — ребятишкам любопытным и шустрым, и уже все вместе прошли в конец школьного сада, к обрыву, к братской могиле.

— Вот, — сказали следопыты, и все, кто был, затихли и сняли шапки перед небольшим обелиском с пятиконечной звездой, перед чернотвольной березой. И странно, дико было видеть ее такой — черной. Шляпа в руках Владимира Николаевича запрыгала, на лбу выступила испарина: предпоследней в табличке, почти на земле, прорезанной травой, была и его фамилия: «Лейтенант В. Н. Тихомиров (1923 г.— 1943 г.)».

Он стоял, склонив голову. А народ натекал, натекал. Над селом вдруг сошлись тучи, и грянул пролетный майский ливень. Теплая благодатная влага уходила, стекала со щек в ноздреватую землю. Он подумал, что, пойдя дождь еще с полчаса, вероятно, дойдет влага и до них, там лежащих. Он думал об осени и зиме, когда прошивают землю грязевые потоки, холода превращают в колодку мертвое тело, и ощутил все это на себе живо и осязаемо. Он даже потрогал себя: вроде живой. Ну, конечно! И жив в нем шелест дождя, сладковатый запах акации, умытые лопухи и крапива. А тем, которые внизу, не в мире живущих, уже не дано ни видеть, ни слышать, ни любить, ни болеть и ни здравствовать —

ничего не дано. «Реквием» Моцарта возникал в его сердце, и он играл сейчас в симфоническом оркестре соло на виолончели — свою главную партию, ту, ради которой он отдал себя музыке, и волшебные, скорбные звуки возносились, бились о тучи, пробивались к самому солнцу...

Дождь прекратился, и многие ушли из школьного сада на площадь, к трибуне. В праздничном платье и яркой косынке, глядя прямо в глаза ему, медленно и торжественно к нему приближалась хозяйка его квартиры, мать Светлогорова. «Да-да,— узнавал он ее по глазам.— Да-да, это она! Как годы ложатся на нас... почти тридцать лет...»

— Ты?! — сказал он ей, дрогнув.

— Да, я... Я знала, не верила, молила все небеса, всех богов призывала... Труп обгорелый нашли на броне — наверно, кого-нибудь из экипажа. А утром танки с десантом ушли...

— Я знаю, их бросили на прорыв. А я попал к пехотинцам... Валялся по госпиталям...

Подошли Светлогоров с сынишкой Саньком и стали на момент рядом с Владимиром Николаевичем, и народ вокруг ахнул: копия все трое, портрет, да и только — белокурые волосы, круто срезанный лоб и глаза... Шелестело по людям, переходило в ропот волнение.

— Чтой-то, Прасковья Ильинична, мужички твои и дорогой наш гостечек промежду собой больно сходственны,— наконец, насмелилась Марья Якимова, про язычок которой говорили в Светлогорье, что она им мужу-сапожнику дырки в сапогах для дратвы прокалывает.

Люди задвигались, загалдели, подступили ближе. Прасковья посерела лицом, огляделась. Наткнулась на Тихомирова взглядом, вся вспыхнула, склонилась к плечу Светлогорова, сказала тихо:

— Он сын ваш... Владимир Николаевич...— И вдруг сорвалась, зашпешила, словно боясь, что ее перебьют: — Да, это правда. Я воспитала его сама. Мне было трудно. У многих не оказалось отцов — война. Но здесь у нас была оккупация, и он родился не в срок...

— Боже! — стоял Владимир Николаевич.— Но почему, почему ты никому ничего не сказала?

Толпа напряглась и застыла. Кто-то вытер платком глаза, кто-то хлюпнул в платок.

— Слышь, Ильинишна,— вышла бочком вперед Марья Якимова и опустила голову, сказала за всех:— Слышь, родная, многострадальная мать... Ты прости нас, повинную голову меч не сечет. Прости нас, деревенских, меня, дуру, язык свой хоть завтра обрежу и выкину, на черта он... Кланяюсь тебе от всего честного народа.

— Да ты что, Марюшка, что ты?

— Кланяюсь тебе за то, что зла к нам не имеешь! — распаяясь, кричала Марья в народ.— Сына вырастила в любви к людям, ко всему Светлогорью. Сама, без мужика, подняла его... Что одной любовью просквозилась...

Толпа потихоньку растаяла.

Нескрываемо глядела Прасковья на того, кто когда-то мелькнул в ее жизни. Узнавала и не узнавала, и был тот самый случай, когда шрамы красили воина. Она вспоминала его молодым, вихревым. Он смотрел на нее так, что жить хотелось впервые за долгие месяцы.

— «Вот и я стал одинок,— говорил он, и слезы стояли в его глазах,— под бомбежкой погибли мать и сестра. Завтра разведка боем,— он заиграл желваками,— значит, мы первыми из дивизии станем еще на двадцать пять километров ближе к нашим границам. Может,

там и останемся... ближе... Ты покажешь мне брод через вашу Снежедь». — «Нет, ты не один, — шептала она, — не один», — и ей было с ним хорошо...

— Помнишь, как ты уходил за Снежедь? — сказала она.

— Да, помню.

— Я принесла сюда эту березку оттуда, где сгорел танк. Бедная березка!

— Черная.

Он тихо смотрел на нее. Русская женщина. Крепкие, сильные плечи. Лицо потемнело под ветрами и солнцем, глаза в тонкой сетке морщин, но они все так же прекрасны, как и тогда. И проникновенны и ясны, чего так не хватает, да, не хватает ему самому в последние годы...

— Сын, — повернулся отец к Светлогорову, — как ты жил?

Светлогоров молчал. Он тоже не спал в эту ночь. И говорить он не мог.

От школы в уголок сада над Снежедью торопился посыльный:

— Товарищи, народ ждет вас, приглашают на митинг.

Их провели на трибуну, поставили всех троих рядом — отца, сына и внука. И ветер заполоскал шапками их буйных светлых волос, и глянули они в народ одинаково и улыбнулись, засмеялись всем одинаково. И вихрь налетел и сорвал овации с запруженной площади, прынул в небе первый весенний гром.

— Ильинишну на трибуну... Прасковьюшку... тетю Пашу... — закричали снизу и успокоились только тогда, когда на трибуне между белыми головами запестрел и ее яркий платок.

Говорили речи. И от имени колхоза, и от военкомата, от следопытов школы. Но все ждали только его.

— Товарищи! — сказал Владимир Николаевич и побледнел и, чувствуя в себе прилив силы, крикнул в тысячи глаз:— Я говорю вам от имени павших, потому что имею на это право... Здесь мы воевали, побеждали и гибли... Лишь в Кривцово, тут рядом, в одной братской могиле, вы знаете, сразу двадцать пять тысяч... Почти тридцать лет здесь, в Светлогорье, над моей могилой... черная береза. Сегодня она может снять траур. Но никогда не снимем мы траур по тем, кому уже никогда не воскреснуть. И в День Победы... и в праздник Победы... склоняемся...

Волнение перехватило горло, не дало говорить. Он слушал сына и слышал, как вновь и вновь возникает где-то внутри его «Реквием» Моцарта. Мужественные звуки несут его в поля, в облака — в бесконечность... Он держал за руки внука и Пашу и думал о том, что у Прасковьи семья, а он все один, и обратно ему и ехать-то не к кому: от жены, умершей давно, никого не осталось. И он понял: не раны солдатские, не обезображенное войною лицо не дали расцвести в нем таланту, а одиночество. «А ведь останусь здесь,— с радостью думал Тихомиров.— Ну, когда людям поздно друг к другу? Никогда».

*с. Борилово*

## ЕРЕМЕЕВА ПРАВДА

Офицер Николай Пантелеев, мой школьный товарищ, ехал в отпуск и завернул, как обычно, ко мне.

— А что, брат,— сказал он, заметно волнуясь,— не махнуть ли нам в мою родную деревню? Все же я не был там целых пять лет...

— Махнем,— сказал я, и в субботу мы покатали автобусом.

Под гудение мотора сладко вздремывалось. Николай рассказывал об одной девушке, Тане, которая писала ему все эти годы, а в последнее время перестала.

Легкие тени наплывали на лицо Николая, и я думал, что едет он в Песковку свою неспроста.

Деревня была не лучше, но и не хуже других. Сентябрь уже засветил клены и липы. Стояла стеклянная, оцепенелая тишь. Лишь где-то у мельницы одиноко тюкал топор, и звуки стлались по самой воде. Мы приблизились к мельнице.

— Эй, старина! — окликнул Николай.

Старик загнал топор в дерево и обернулся — живой, суховатый, с прокуренными усами.

— Никак Фроськи Круговой сын? — подошел он, щурясь, и протянул ладонь, желтую от курева по самую кисть. — Вот холера тебя заверти, а я думаю, кто б это? Ну, здорово, служивый, где сейчас служишь?

— Там,— посмотрел Николай на запад и слегка заиграл желваками.— От места, где погиб отец, в двадцати километрах... Ну, а ты, дед Еремей?

— Да что я,— присел старик, доставая кисет.— Все ковалем бегаю, сто сорок оборотов в секунду.

— Ну, а как тут житье-бытье? Что новенького? Жив дружок твой, Александр Петрович? Что Таня... внучка его? — Николай придержал дыхание, снял фуражку и вытер на лбу испарину.

Дед Еремей не спешил отвечать. Он закурил свойского, реактивного, от которого, «ежели без привычки, пообрываются легкие», перевел разговор на другое, и тут слова просыпались из него, как горох.

— Видишь,— кивнул он на мельницу,— лажу плотину. Весной сорвало. Хотели уж нынешним летом и не прудить — трактором камень гонять, да мужики-карпятники настояли... У преда тоже губа не дура. Вызвал к себе в кабинет и спрашивает: «Оправдаешь, дед Еремей?» Оправдаю, отвечаю, а как же ж. Молодые шурятами по поддону, ищут, где бы поденежней, а меня сюды... Ну, да ладно,— заторопился старик, заметив спускающийся с горы председательский «козлик». — Прошу на вечерок ко мне, тогда, значит, все и обтолкуем. Про житье-бытье, значит...

Вечером мы направились к дедовой хате. Хата его была крепкой, под шифер, видно, недавней постройки. Бабка хлопотала у погребницы с утками.

— Привет бабке Анисье,— поклонившись, сказал Николай.— А где дед Еремей?

— Где ему, черту,— буркнула бабка Анисья, в данный момент пребывавшая не в настроении.— Должно, у своего Александра Петровича.

Дом Александра Петровича оказался через три двора, на самой околице. Чисто выбеленная постройка

проглядывала из глубины сада, над ней высоченно торчала слегка — телеантенна. Мы прошли тропинкой мимо колодчика, мимо кустов георгин, свисающих через плетень. Увидели деда Еремея, скособочившегося за верстаком.

— Ишь,— мотнул он усами на свежие доски,— не хуже редьки строгаются.

Прошли через сенцы, в которых пахло ржаной мукой, попали в переднюю. Опрятный и уютный вид придавали ей тюлевые занавески и большая, во всю стену, политическая карта мира. Направо, как обычно, располагалась русская печь.

— Александр Петрович! — провозгласил дед Еремей.— Пришли к тебе в гости. Что есть в печи, на стол мечи.

В глубине дома раздалось сначала кряхтение, затем послышался слегка дребезжащий старческий голос:

— Как же-с, как же-с... Прихворнул я что-то, мой дорогой... Да ты зови, зови их сюда, в гостиную.

Гривастый старик — бородка клинышком, бледный и грузноватый — сидел с книжкой в постели.

— Опять обезножил,— повернулся к нам дед Еремей.— Опять у тебя эта, как ее там... педагра? — улыбнулся он дружку.— Вот мы сейчас ее.— И вытащил из кармана бутылку.

— Магазиная? — удивился хозяин.

— Купило притупило,— поднялся дед Еремей и прошел к столу.— Бабка моя прислала тебе полынового отвару. Как раз, говорит, для твоих ног.

— А-а, Николай Кузьмич, здравствуйте, здравствуйте,— заблестели глаза у хозяина, и он начал сразу, без всякого перехода.— Представьте себе, человек по своим физиологическим данным может жить без бо-

лезней полторы сотни лет. Вот нам с Еремеем Семенычем на двоих лишь немногим побольше, а уже, пожалуйста,— сердце, одышка... Ну, у нас в России еще ничего, а вот в Индии средняя продолжительность жизни двадцать пять лет.

— Как у лошади,— заметил дед Еремей, живо усаживаясь у его ног.

— А что, Еремей Семенович, разве лошадь дольше не может? — повернулся к нему Александр Петрович и часто-часто захлопал красноватыми веками.

— Не может! — всплеснул руками дед Еремей.— А еще зоотехник, пол-Европы объездил... Да лошадь как за двадцать, так уже без зубов. Летом на траве еще может держаться, справной быть, а зимой кормок грубый — чем ее, манкой кормить?

За разговором щеки стариков постепенно затеплились, глаза повлажнели.

— А скажи, Александр Петрович, что-нибудь по этому... по-французски,— подмигнул нам дед Еремей.— Чему тебя там в Европах учили?

— Ах, боже мой! Ну, что вы, Еремей Семеныч! Ну, не обучился, не знаю я иностранных, хоть и жил за границей. Так, всякую малость: же ву зем, спик ю инглиш... И не в Европе я был, а в Америке и Австралии,— объяснял мне Александр Петрович.— А в Песковку я попал из Москвы. Здесь после революции на базе помещичьей экономии совхоз создавался, меня и прислали сюда зоотехником. Овец разводить. Хозяйство племенное, на всю республику. Посылали за границу, на лучшие фермы. В общем, кое-что повидал.

— А вот барыня была у нас,— откашлялся дед Еремей,— Аграфеной звалась, тоже овец водила. Мы, песковские, к этой самой Аграфене и были приписаны. Отец Александра Петровича служил у нее контор-

щиком. Аграфена, как мужа, графа свою, похоронила, так, бывало, из милости отцу Александра Петровича на праздник то червонец, то на зиму к себе ребятишек на перины-малины...

— Да уж, верно, жилось нелегко,— вздохнул Александр Петрович и, тряхнув гривастою головой, усмехнулся с иронией:— Как это певали тогда? Эх, да были когда-то и мы рысаками... А собственно говоря, какое там. Пробыл отец весь век свой ломовой лошадыю. А я уже после Октябрьской Тимирязевку кончил... Только помню одних рысаков! Серых в яблоках. Сильных и тонконогих...

— Ну, поехало, покатило,— усмехнулся, крутнув рыжий ус, дед Еремей.— Любимое дело у него — рысаки... Это с виду он вроде сурьезный, а душа-то пуховая, кроличья. Ученый, заслуженный, книжек написано им самим целый стог, а палки острогать не может. Я за ним так всю жисть и смотрю, как перед Христом-богом ответственный. То сараишко поправлю, то вспашу огород.

— А чего строгал-то сейчас? — спросил Николай.

— Строгал-то? — замялся дед Еремей и перевел взгляд на своего подшефного.— Ну, ладно,— решил он.— Домовину попросил сгородить. Нехай себе сохнет до времени на потолке.

Было тихо. На кухне тикали ходики, в почерневшие окна начинал сыпать дождь.

— Ну, а как тебе-то живется? — спросил я деда Еремея, чтобы разбить неловкую тишину.

— Мне-то? Совхоз наш давно в люди вышел.

— А как сравнительно с той жизнью, при господах?

— И-и-и,— захихикал старик,— скажешь тоже... Жисть тогда была не теперешняя. Зимой — в пенько-

вых чунях, по траве — босиком. На всю деревню у кулака Антона Ефимова одни сапоги. Вся Песковка в них переженилась. Жених до венца и с венца пройдет, проскрипит спиртовой подошвой, а потом разувается — и к Антону, а тот: отработаешь. Так-то... А сейчас у меня вон внучонок растет, сколько обувок ему переменных. Девки, те вовсе спятили, друг перед другом по пять-шесть обувок... Да и работа прежде была чертячья. Отец мой холодный, то бишь неродной, сам встанет чуть свет и нас, ребятишек, на ноги. Ткнешься в телегу невыспанный, ровню со слепу, куренок, а он сзади тебя кнутовищем: не вздремывай! В поле робил, растягивался, как скаженный, до грызи, все думал лишний загон прикупить. И скуп же был, дьявол: повесит окорок на печи, да и ест все вприглядку, пока в нем черви не заведутся...

Между тем, я заметил, Николай сидел, как на гвоздях, словно прислушиваясь к тому, что вот-вот должно было произойти во дворе или в сенцах. За окном кто-то мелькнул. В комнату влетела девушка — остроглазая, в брючках, очень похожая на Александра Петровича. Кивнула всем, бросила на Николая выразительный взгляд, вертанулась у зеркала, улетела, хлопнув сенечной дверью. Старик долго, с любовью слушал, как каблучки затихают уже за калиткой.

— Внучка, — кивнул он мне и провел, довольный, ладонью по клиновидной бородке. — Коза, учится в сельхозинституте. Первый будет в нашем роду агроном...

Николай поднялся и вышел. У сиреней, я видел в окно, его уже ждали.

— Войны б только не было, — проводив его взглядом, вздохнул дед Еремей и полез в карман за кисетом. — Вон ведь сколько всяких чертей, понимать надо, пялятся на нашу землю... Был в войну тут у нас

один примечательный случай. Дошел немец к осени и до нашей деревни. Понаехало на мотоциклах, бегают, суетятся, а потом успокоились, по насестам принялись шарить. Хоть уже и тогда в годах были мы с Александром Петровичем, а в скирдах с ним недельку пришлось поваляться. Кто их знает, что у них, у иродов, на уме? А потом думаю: да кто меня может убить — я вроде как заговоренный, коли за пазухой у меня икона, еще матерью даденная? Явились домой. К Александру Петровичу сразу же комендант.

— Вы,— говорит,— навроде голубые кровя, не из мужиков.

— Ну, и что с того? — отвечает он.

— Будете помогать немецкой армии. Назначаем вас старостой.

А Александр Петрович сообразил, что сказать.

— Я впадаю,— говорит,— по четвергам в полудурие: страдаю педагогрой.

— Вас издас,— спрашивает,— педагра?

— А это такая болость головы, когда за себя не ответчик...

Так от чина немецкого и отвертелся. В нашей деревне не нашлось холуя — привезли из соседней. Подошла весна — закопошилась немчура: землю обрабатывать надумали. Поставили над старостой своего офицера, со стекляшкой в глазу, вроде как управляющего. Лошадей понагнали, роздали люду.

— Вы есть,— говорит комендант,— русский мужик. Вы будете делать хлебушка для великой Германии. Вот вам,— показывает на офицера,— это... барин ваш. Слушай его и арбайтен.

Бабы в голос: как и не было, значит, у нас революции, опять мы вроде барские? С того дня на бар-

щину, с барщины под автоматами. Работаем, а я все к офицеру приглядываюсь: где-то я его, окаянного, видел? Другие фашисты хоть слово по-русски, а этот все гыр-гыр да гыр-гыр, к нам только через переводчика.

Поехали с ним на Митино поле. Лошадь справная, бричка вся на рессорах — не езда, а мечта. Прикатили. Глянули: рожь уже поднялась, выколосилась, стоит, родная, стеной, только ветер по ней серебром. Упал немец мой перед ней на колени, облапил, целует землю и плачет, а сам, слышу, вроде по-русски:

— Моя земля, мое поле...

Пригляделся я — и как будто бы стукнуло: мать честная, уж не Аграфенин сынок?! Я же видел его еще мальчиком, в гимназерской одежде, приезжал, говорили, барчук к Аграфене из Парижа иль там из Петербурга. И сейчас гляжу: он! Только в форме немецкой... Ох, как задрожало, заходило, понимать надо, в груди у меня, слова так и выпростались.

— Чего тебе тут, — говорю, — господин хороший? Не твое это — Митино поле.

— Ну ты, мужик! — поднялся с коленок он. — Какая у тебя на это есть правда? Моя земля, двести лет имела службу нашему роду.

А сам стекло сует в глаз, никак не попадет.

— Профинтил, — говорю, — ты, дядя, свою правду по границам. Тут, на бывшем Аграфенином поле, мы стали бок о бок, коммуной в первый раз сеяли. Тут я увидел себя человеком, хозяином. Здесь, понимать надо, давно наша, мужицкая правда... Это поле нам в памяти. Здесь Митя Крайнов потом проложил на «фордзоне» первую борозду. На «фордзоне» и сразила Митю кулацкая пуля. После войны мы памятник ему здесь до самого неба поставим...

— Дурак ты! — кричит Аграфенин сынок. — Был

дурак, дураком и останешься. Куда тебе, дураку, без барина? Вести тебя, дурака, надо и просвещать. Тебе, мужику, еще тыщу лет нужен барин и царь. Куда тебе без царя?

— Сам,— говорю,— ты, анчибал, без царя в голове, коль мужика так дурачишь. Мужик, он все разумеет. Ему с его вековой мужицкой прохвессией всю жисть видать, как с колокольни, кто на каком полозу едет. Вот, к примеру, тебе по всем статьям скоро капут, а земляца наша стояла и еще без тебя — нет ей слову — века простоит...

Как подскочит он, посерел да как заорет, затопчет да за кобуру. А она, окажись, на счастье, пустой: пистолет в хате остался. Тут уж я-то одумался и с кнутом к нему.

— Паскуда,— говорю,— стеклоглазая. Чего пришел сюда, чего тут спонадобилось? Обходились и обойдемся. Под себя уже не подомнешь, ярмо прежнее не напятишь. Придет с нашими внук мой Ванюшка, и кость твою на распыл!

Эх, как скорчи он рожу да плюнь в меня, да по-немецки. Ну, я взвился. И откуда взялось что! Он супротив меня мужик все же крупный, только я на него петухом, петухом, за грудки да кнутом.

— Ты кого,— говорю,— сюда приволок? Чей мундир,— говорю,— сволочь, напятил?

Споткнулся, упал он, лежит. И гадко же мне стало, сплюнул наземь я, хлестнул лошадь покрепче, чтобы пешком ему, дьяволу, до деревни, да и пошел себе прочь. С месячишко хоронился, как волк, в дальних кручах. После той моей профилактики супостат в деревню вернулся с синей рожой. Тут же сгинул из Песковки, только его и видали. Ну, а вскорости немцы начали драпать. А как ржи поспевать — подоспели и

наши. Хлебушек всей деревней отнесли Красной Армии. До самых Жирятинских складов...

Дед Еремей замолчал, отдыхая от слов, от волнения, от всего, что прошло снова перед глазами. Потянулся за кisetом, опять засмолил самокрутку, посмотрел на своего годка: тот дремал, положив голову в ладони.

— Слабоват стал,— заметил он сокрушенно,— огрузился рысак нашими байками. А ведь всего годика два как на пенсии. Вот оно как без делов. Все крутился, мотался, вывел хозяйство в передовые, ордена за так не дают... И детишки, внуки у него путевые — в техникумы, институт. Все, как пчелы.

Мы вышли из сенцев. Тучи висели лохматые, тяжкие, по деревне горели электрические огни.

— Н-ну, поздравь нас! — шагнул из-за сиреней и подхватил под мышки меня Николай.— Приглашаем тебя с Таней на свадьбу. Пока я здесь и Таня дома на практике. Верно, Танечка?

— Быстренько же вы договорились,— улыбнулся я.

— Мы пять лет договаривались,— смутилась Танечка и забеспокоилась:— Мне по делам надо...

Я прислонился к столбу. Под фонарем на проводах золотились шмелями дождевики. Сверкнули звезды на погонах у Николая. А где-то в ночи, должно быть, на Митином поле, трактора пахали под зябь.

*п. Веселый*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОВЕСТЬ

НЕ МАННА НЕБЕСНАЯ

4

### РАССКАЗЫ

КОСТРОВЫЙ ПОЯС . . . . .	124
У ТОЛСТОВСКОГО РОДНИКА	138
СЕДЫЕ ХЛЕБА . . . . .	147
ОЛЬГОВИЧИ . . . . .	156
СОЛЬВЕЙГ . . . . .	168
ЛЕКСЕИЧ . . . . .	174
УТРО ТУМАННОЕ . . . . .	183
БОБЫЛЬ . . . . .	194
ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА . . . . .	204
ЕРЕМЕЕВА ПРАВДА . . . . .	214

*Золотарев Леонард Михайлович*

#### КОСТРОВЫЙ ПОЯС

Редактор *В. Г. Ходулин*, Художник-редактор *М. Г. Рудаков*. Техн. редактор *С. А. Харитонова*. Корректор *Л. В. Захарова*. Сдано в набор 4 марта 1974 г. Подписано к печати 2 июля 1974 г. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печ. л. 7 (9,8). Уч.-изд. л. 9,34. Тираж 30 000 экз. Зак. 568. ЦП 00108. Цена в переплете № 5 — 41 коп. Бумага типографская № 2. Приокское книжное издательство, г. Тула, ул. Каминского, 33. Типография издательства «Коммунар», г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 150.